

ВРЕМЯ ШМЫ 97 1987



НАСТИГНУТЬ УТРАЧЕННОЕ ВРЕМЯ
ИНТЕРВЬЮ С ИОСИФОМ БРОДСКИМ

ВРЕМЯ И МЫ

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ**

Тринадцатый год издания.

**Выходит один раз
в два месяца**

**97
1987**

**НЬЮ-ЙОРК — ИЕРУСАЛИМ — ПАРИЖ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ» — 1987**

ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ВАГРИЧ БАХЧАНЯН	ВОЛЬФАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН
ЮРИЙ БРЕТЕЛЬ	ИЛЬЯ СУСЛОВ
ДЖОН ГЛЭД	МОРИС ФРИДБЕРГ
АРОН КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН	ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ЛЕВ НАВРОЗОВ	ЕФИМ ЭТКИНД
ГРИГОРИЙ ПОЛЯК	

Израильское отделение журнала «Время и мы»
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала «Время и мы»
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boiedieu, 92800
PUTEAUX, FRANCE

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Симона де БОВУАР
Мандарины.....5

ПОЭЗИЯ

Илья *СЕРМАН*
Поэт безвременья.....90
Владимир ГАНДЕЛЬСМАН
Цепляние за жизнь.....91

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТИКА

Владимир ШЛЯПЕНТОХ
Александр II и Михаил Горбачев.....104
Иосиф ЛИЦИНСКИЙ
Государство Израиль против Ивана Демянюка124

ПО СТРАНИЦАМ МИРОВОЙ ПЕЧАТИ

Правда и ложь в литературе.....152
Существует ли Центральная Европа?.....157

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Иосиф БРОДСКИЙ
Настигнуть утраченное время.....164
Из цикла «Беседы в изгнании»
профессора Джона Глэда

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

София ДУБНОВА-ЭРЛИХ
Революция.....180

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ И ИЗ РЕДАКЦИИ

Давайте начнем диалог.....222
Письмо Виктора Перельмана главному редактору
газеты «Московские новости» Егору Яковлеву
Право на инакомыслие.....226
Вокруг одного письма

ВЕРНИСАЖ «ВРЕМЯ И МЫ»

Александр ЩЕДРИНСКИЙ
«Божественная комедия» Эрнста Неизвестного.....234



Симона де БОВУАР

МАНДАРИНЫ

Фрагменты из романа

Перевод с французского Доры Анчиполовской.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Надин, слава Богу, перестала сообщать отцу, как его бранят ее товарищи-коммунисты, она не наносила нам больше удара, резко критикуя американский империализм, она окончательно закрыла «Капитал».

Я не удивилась, когда она однажды сказала:

- Вообще-то коммунисты — это то же самое, что буржуа.
- Как это так?

Я готовилась ко сну, она сидела на краю моей постели. В такой момент она часто разговаривала со мной о тревожащих ее вещах.

— Они не революционеры, они за порядок, за труд, за семью, за разум. Их справедливость — это будущее, а в ожидании этого будущего они мирятся с несправедливостью, как и все остальные. И их общество будет просто еще одним обществом.

— Очевидно.

— Если нужно ждать пятьсот лет, чтобы мир переменялся, мне это не интересно.

Окончание. Начало см. в номере 96.

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

©"Время и Мы"

ISSN 0737 7061

— Не воображаешь же ты, что мир переменится за один сезон.

— Прекрасно! Ты говоришь, как Жоли, и при этом сомневаешься, знаю ли я их кухню. Я не вижу, зачем мне вступать в компартию, если она такая же, как и всякие другие.

«Вот еще одна история, которая закончилась плохо, — с сожалением подумала я, снимая с лица грим. — Ей бы так была нужна история с хорошим концом!»

— Самое лучшее — оставаться в одиночестве, как Венсан, — продолжала она. — Это чистый человек, ангел.

Ангел! Слово, которым она называла Диего; она, конечно, находила в Венсане великодушие и экстравагантность, некогда тронувшие ее сердце. Только Диего проявлял свое безумство в сочинениях, а Венсан, казалось, проявлял его в жизни. Спал ли он с Надин? Этого я не знала, но виделись они часто. Я скорее радовалась этому, потому что Надин казалась мне оживленной, даже веселой. Однажды, в пять утра, я услышала звонок в дверь. Надин еще не вернулась, и я подумала, что она забыла ключ. Но, открыв дверь, я увидела Венсана. Он сказал мне:

— Не пугайтесь!

Это тотчас вызвало мое беспокойство, и я спросила:

— Что-то случилось с Надин?

— Нет, нет, — ответил он. — Она в порядке, все устроится. — Он решительно направился к гостиной. — Даже Надин женщина! — произнес он недовольно. Из кармана куртки он извлек карту и расстелил ее на столе.

— В двух словах: она ждет вас на этом перекрестке, — сказал он, указывая на пересечение двух дорог к северо-западу от Шантийи. — Вам нужно достать машину и немедленно отправиться за ней. Анри Перрон, разумеется, даст вам редакционную машину, ничего ему не объясняйте, попросите машину и точка. Главное, ни слова обо мне.

Он произнес это на одном дыхании, спокойным, твердым голосом, который меня совсем не успокоил. Я была

убеждена, что он боится.

— Что она там делает? Случилась авария?

— Уверю вас, что ничего не случилось, она натерла ногу, вот и все, она не может идти. Но вы придете вовремя, чтобы ее забрать. Запомнили место? Я отмечаю его крестиком. Вам надо посигналить или позвать ее. Она в лесочке, справа от дороги.

— Что это за история? Что случилось? Я хочу знать, — произнесла я.

— Профессиональный секрет, — ответил Венсан. — Вам лучше сразу позвонить Перрону, — добавил он.

Меня раздражало его бледное лицо, налитые кровью глаза, красивый профиль, но это было беспомощное раздражение. Я набрала номер Анри и услышала его удивленный голос:

— Алло! Кто у телефона?

— Анна Дюбрей. Да, это я. У меня к вам просьба. Только, пожалуйста, не задавайте вопросов. Мне срочно нужна машина с количеством бензина, достаточным на двести километров.

После очень короткого молчания я услышала:

— Вам повезло, мы вчера наполнили бак, — сказал он спокойно. — Машина будет у ваших дверей через полчаса, это время, необходимое мне на дорогу.

— Доставьте ее на площадь Сен-Андре-дез-Ар, — сказала я, — и спасибо.

— Превосходно! — с широкой улыбкой сказал Венсан. — Я был уверен в Перроне. Не беспокойтесь, — добавил он. — Надин не грозит ни малейшая опасность. Особенно если вы поспешите. Никому ни слова! Она поклялась, что я могу на вас рассчитывать.

— На меня можно рассчитывать, но скажите, в чем дело?

— Ничего серьезного, клянусь вам! — ответил он.

У меня было желание захлопнуть за ним дверь, но я мягко закрыла ее, чтобы не разбудить Робера; я слышала, как он лег спать едва ли не два часа назад. Я поспеш-

но оделась. Я не забыла те две ночи, когда я ждала Надин, а Робер искал ее по всему Парижу: ужасное ожидание. Сегодня все намного хуже. Я была уверена, что дело серьезное. Венсан боится; речь идет о взломе, о похищении, одному Богу известно, о чем. А потом Надин не смогла идти пешком до вокзала, понадобилось, чтобы приехала я, прежде чем все раскроется, прежде чем будет обнаружена Надин, ждущая меня уже несколько часов одна, ночью, в холоде и страхе. Стояло прекрасное утро с запахом смолы и листьев; через несколько часов станет очень тепло, а сейчас в свежести и тишине пустынных набережных пели птицы, начиналось веселое, полное тревоги утро.

Анри прибыл на площадь через несколько минут после меня.

— Вот машина, — весело сказал он, оставаясь за рулем. — Вы не хотите, чтобы я поехал с вами?

— Нет, спасибо.

— Вы уверены?

— Да.

— Но вы ведь давно не водили машину?

— Я знаю, что смогу.

Он вышел, и я заняла его место. Он сказал:

— Речь идет о Надин?

— Да.

— Ах! Они пользуются ею, чтобы связать нам руки! — возмущенно произнес он.

— Вы знаете, в чем дело?

— Более или менее.

— Скажите мне, что вам известно...

Он заколебался:

— Это только предположения. Я буду дома все утро, если я смогу вам хоть чем-нибудь помочь, звоните.

«Главное, чтобы не случилось дорожной катастрофы», — говорила я себе, направляясь к воротам Шапелль. Я заставляла себя быть осторожной и старалась себя разу-

верить: «Анри предполагает, что Венсан солгал». Может быть, там меня ждут несколько человек; может быть, там вообще нет Надин. Как я этого желала! Я предпочитала заподозрить их в обмане, нежели представить себе Надин, пронизанную холодом, страхом и отвращением к этой долгой ночи.

Центральное шоссе было пустынным, и я свернула вправо; маленькая дорога, потом еще одна. На перекрестке никого; я посигналила и проверила место по карте: ошибки быть не могло. А если ошибся Венсан? Нет, он указал все точно. Я снова посигналила, потом выключила мотор и вышла из машины. Пошла направо и крикнула:

— Надин!

Сначала тихо, потом все громче. Молчание. Смертельная тишина: я поняла смысл этих слов. Надин не отвечает. Все равно, что я позвала бы Диего. Она тоже испарилась, она должна быть здесь, а ее нет. Я прошла вокруг, раздвигала мертвые ветви в свежей росе, я уже даже больше не звала ее.

— Ее арестовали, — с ужасом подумала я и вернулась к машине. Может быть, она устала ждать, она нетерпелива и нашла в себе мужество направиться в сторону соседнего вокзала. Следовало догнать ее, это необходимо, в этот час ее сразу заметят на пустынном вокзале. В Шантийи она будет незаметной, но это очень далеко, я отыщу ее на дороге. Она, вероятно, выбрала Клермон; я внимательно смотрела на карту, словно могла вырвать у нее ответ. К Клермону вели два пути; по всей вероятности, она выбрала самый короткий. Я включила мотор, сердце мое отчаянно билось: мотор не подавал признаков жизни. Наконец, он включился, и машина двинулась. Мои взмокшие ладони скользили по рулю. Вокруг меня стояла упрямая тишина, но уже рассвело, скоро в поселках откроются двери. «Они ее арестуют».

Тишина. Никого. Этот мир казался мне ужасным. Надин не было ни на дороге, ни на улицах Клермона, ни на вок-

зале. У нее, конечно, не было карты, она не знает этого района, бредет наугад, по деревне. Они найдут ее раньше меня. Я сделала поворот, сейчас я окажусь на перекрестке с другой стороны, потом снова начну колесить по всем этим дорогам, пока не кончится безнин. Что тогда? Нечего задавать себе вопросы, надо ехать по дороге; эта ведет к плато среди зеленеющих жатв. И вдруг я увидела Надин, шедшую мне навстречу с улыбкой на губах, словно мы давно договорились об этой встрече. Я резко затормозила, она не спеша подошла к машине и совершенно естественно спросила:

— Ты приехала за мной?

— Нет, я здесь на прогулке. — Я открыла дверцу. — Садись!

Она села рядом со мной. Была она причесанной, напудренной, казалась отдохнувшей; моя нога коснулась акселератора, а руки крепче сжали руль. Надин полусмешливо, полуснисходительно спросила:

— Ты злишься?

Те две едкие слезинки, что появились у меня на глазах, были, действительно, слезами гнева; машина сделала зигзаг, полагаю, руки мои дрожали, я замедлила ход, попыталась расслабить пальцы и контролировать свой голос:

— Почему ты не дождалась меня в лесу?

— Мне надоело. — Она сняла туфли и затолкала их под сиденье. — Я не думала, что ты приедешь.

— Ты что, идиотка? Конечно, я приехала.

— Я не знала. Я хотела сесть в поезд в Клермоне, в конце концов я бы туда добралась. — Склонившись вперед, она массировала ноги. — Мои бедные ноги.

— Что вы натворили?

Она не ответила.

— Хорошо, храни свой секрет, — сказала я. — Это появится сегодня в вечерней газете.

— Это будет в газете? — Надин выпрямилась, лицо ее

выражало растерянность. — Ты думаешь, консьержка заметила, что я сегодня не возвращалась домой?

— Она не сможет доказать этого, я же при случае разыграю обратное. Но я хочу знать, что вы натворили.

— Раз ты все равно будешь знать... В Азикуре живет одна милая женщина, которая выдала двух еврейских мальчиков; их поймали и убили на ферме, — рассказывала Надин безжизненным тоном. — Все знают, что это дело ее рук, но она выкрутилась: еще одна подлость. Венсан и его товарищи решили ее наказать, я уже давно знала об этом, им было известно, что я готова им помочь. В этот раз им была нужна помощь женщины, я пошла с ними. Эта женщина держит быстро; мы подкараулили, когда вышли последние посетители, то есть момент, когда она закрывала кабачок; я упростила ее впустить меня на минутку, чтобы выпить рюмку вина и отдохнуть; пока она меня обслуживала, подошли остальные и набросились на нее, а потом упрятали ее в погреб.

Надин замолчала, я спросила:

— Они ее не...

— Нет, — живо отозвалась она, добавив: — они ее остригли... Я неплохо справилась с ролью, — сказала она неожиданно. — Я закрыла двери, погасила свет, только это показалось мне долгим, и я выпила в ожидании рюмку вина; очевидно, я не тренирована, потому что потом рюмку вытерли. К тому же мы уже проделали пешком путь в несколько километров, чтобы добраться от Клермона до Азикура, они хотели вернуться через Шантийи: я же не могла двинуться с места. Они дотацили меня до лесочка и сказали, чтобы я тебя ждала. У меня было время прийти в себя...

Я перебила ее:

— Ты должна дать слово, что порвешь с этой бандой, или ты уедешь из Парижа сегодня же вечером.

— В любом случае, они больше не захотят связываться со мной, — зло сказала она.

— Этого мне недостаточно: мне нужно твое слово, или, клянусь, завтра ты будешь далеко.

Уже несколько лет я не говорила с ней таким тоном; она посмотрела на меня униженно и умоляюще.

— Пообещай мне тоже кое-что: ничего не говорить папе.

Мне уже несколько раз доводилось утаивать от Робера глупости Надин, но на этот раз я думала, что мне незачем навязывать ему новые заботы.

— Обещание в обмен на обещание, — сказала я.

— Обещаю все, что ты хочешь, — печально сказала она.

— Тогда я ничего не скажу. Ты уверена, что не оставила следов?

— Венсан утверждает, что следил за всем. — Она с тревогой спросила:

— А что было бы, если бы меня схватили?

— Тебя не схватят, ты всего лишь сообщница, и ты очень молода. Но Венсан крупно рискует, и если он закончит жизнь в тюрьме, это будет для него нормально, — с яростью добавила я. — Это гнусная история, глупая и гнусная.

Надин ответила после недолгого молчания.

— Анри дал машину, не задавая вопросов?

— Думаю, что он достаточно знает и без вопросов.

— Венсан слишком болтлив, — сказала Надин. — Знает Анри или нет, в этом нет особой разницы. Но если бы знал тип вроде Сезенака, это могло бы быть опасно.

— И Сезенак тоже с этим связан? Это безумие!

— Он не связан с этим! Венсан все же понимает, что следует остерегаться наркомана. Только они друг другу симпатизируют, они все время вместе.

— Надо поговорить с Венсаном и убедить его оставить это занятие...

— В этом его не переубедить.

Надин легла спать, я же сказала Роберу, что выходила прогуляться. Он был так занят, что не нашел в этом ничего странного. Я позвонила Анри и в нескольких расплывчатых

фразах успокоила его. Сегодня заниматься больными для меня было слишком трудно. Я ждала вечерних газет: они ни о чем не сообщили. Я все же не спала всю ночь.

«О поездке в Америку, на Конгресс психиатров, не может быть и речи, — сказала я себе. — Надин угрожает опасность. Она обещала больше этого не делать, но одному Богу известно, что она еще придумает!» И я с грустью подумала, что быть рядом с ней бесполезно, мне не удастся ее защитить. Было бы, конечно, достаточно, чтобы она была счастлива, чтобы она почувствовала себя любимой, чтобы она перестала разрушать себя: но я не могу дать ей любовь и счастье. До чего же я бесполезна! Других, чужих я вызываю на разговор, освобождаю их от воспоминаний, от комплексов: иногда это приносит им пользу. Я безо всякого усилия читаю в душе Надин, но ничего не могу для нее сделать. Когда-то я говорила себе: «Как можно спокойно дышать, когда знаешь, что любимые люди играют в вечную жизнь?» Но верующий может молиться, может ставить Богу условия. Для меня же божественного причастия не существует, и я говорю себе: «Эта жизнь — единственный шанс. У Надин не будет другой жизни, кроме той, которую она знала, не будет другого мира, кроме того, в которой она верит».

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Как продвигается работа?

— Помаленьку.

— Когда ты мне ее покажешь?

— Я тебе уже двадцать раз говорил, что еще нечего показывать. Книга еще бесформенна.

— За то время, что ты мне это твердишь, роман мог приобрести форму.

— Я начал все сначала и уже написал пьесу.

Поль облокотилась о стол и опустила подбородок на ладони.

— Ты не очень-то мне доверяешь, правда?

— Конечно, доверяю!

— Нет, не доверяешь. Это тянется со времени путешествия на велосипедах, — задумчиво произнесла она. Анри с удивлением взглянул на нее.

— Что могло изменить это путешествие?

— Таковы факты.

— Какие факты?

— Ты больше не веришь тому, что я говорю, — он пожал плечами, а она живо добавила, — могу назвать тебе двадцать случаев, когда ты мне не поверил.

— Например?

— Например, в сентябре я тебе сказала, что ты можешь ночевать в отеле, когда хочешь; но ты всякий раз с виноватым видом спрашиваешь у меня разрешения. Ты не хочешь поверить, что я предпочитаю твою свободу своему счастью.

— Послушай, Поль, на следующее утро, после того как я в первый раз ночевал в отеле, у тебя были потемневшие глаза.

— Я имею право плакать или нет? — агрессивно спросила она.

— Но у меня нет желания вызывать твои слезы.

— Ты думаешь, я не плачу, когда ты отказываешь мне в доверии? Когда ты закрываешь на ключ свою рукопись?..

— Есть из-за чего плакать, — раздраженно сказал он.

— Это оскорбительно, — сказала она. Поль смотрела на Анри почти с детским испугом. — Иногда я задаю себе вопрос, уж не садист ли ты.

Не отвечая, он налил себе вторую чашку кофе, и она сказала:

— Ты боишься, что я буду рыться в твоих бумагах?

— Именно этим я бы и занимался на твоём месте, — деланно веселым тоном ответил Анри.

Она встала и отодвинула стул:

— Ты признаешь, что из-за меня закрываешь ящики на ключ. Вот до чего мы дожили!

— Я делаю это для того, что избавить тебя от искушения, — сказал он. На этот раз его веселый тон звучал совсем фальшиво.

— Вот до чего мы дожили! — повторила она, взглянув Анри в глаза. — Если бы я поклялась тебе, что не трону твои записки, ты бы мне поверил? Оставил бы ящики открытыми?

— Ты настолько нацелена на эту несчастную рукопись, что не можешь ручаться за себя, я, конечно, верю в твою искренность, но закрою ящик.

Наступило молчание, и Поль медленно произнесла:

— Ты никогда прежде не наносил мне такого удара.

— Если ты не можешь вынести правду, я вынужден тебе это сказать, — сказал Анри, с силой отталкивая стул.

Он поднялся по лестнице и сел за стол. Если бы он показал ей рукопись, он бы от нее скорее отвязался. Очевидно, в момент публикации он будет вынужден изменить некоторые страницы: если только она за это время не умрет; а пока, перечитывая их, он чувствует себя отмытым.

«В определенном смысле литература правдивее, чем жизнь, — сказал он себе. Дюбрею наплевать на меня, Луи — подонок, Поль отравляет мне существование, а я им улыбаюсь. На бумаге в том, что чувствуешь, идешь до конца».

Он еще раз пробежал глазами сцену разрыва: как легко порвать отношения на бумаге! Ненавидишь, кричишь, убиваешь, кончаешь жизнь самоубийством; идешь до конца: поэтому это фальшиво.

«Ладно, — сказал он себе, — хватит! В жизни без конца отрицаешь себя. Поль приводит меня в отчаяние: я только что ее пожалел, а она думает, что я все еще ее люблю. На бумаге я останавливаю время и навязываю всему свету свои убеждения. Они становятся единственной реальностью».

Поль никогда не прочтет этих страниц, тем не менее он торжествовал, словно ему удалось заставить ее признать портрет, который он нарисовал: неестественная возлюбленная, которая только ломает комедию и витает в мечтах, женщина, играющая в величие, благородство и самоотверженность, в то время как у нее нет ни гордости, ни мужества; она зарылась в эгоизме и деланных страстях. Такой он ее видел, и на бумаге она полностью совпадала с этим видением.

В последующие дни Анри старался сделать все, чтобы избежать новых столкновений. Поль нашла еще одну причину для возмущения — лекция, которую он согласился прочесть у Клоди. Сначала он пытался оправдываться, даже Дюбрей выступал у Клоди, речь идет о сборе средств для дома ребенка: отказаться невозможно. Поскольку она не сдавалась, он решил замолчать. Эта тактика приводила Польшу в отчаяние; она тоже замолчала, но в ее голове созревали важные решения. В день лекции, когда он завязывал галстук перед зеркалом в их спальне, она смотрела на него так, что он с надеждой подумал: «Она сама предложит мне разрыв».

Он галантно спросил:

— Ты решительно не хочешь пойти со мной?

Она так неожиданно засмеялась, что если бы он ее не знал, он решил бы, что она сошла с ума:

— Что за фарс! Сопровождать тебя на этот карнавал!

— Как хочешь.

— У меня есть дела поважнее! — заметила она, вызывая его вопрос. Он покорно спросил:

— Что ты собираешься делать?

— Это мое дело! — высокомерно ответила она.

На этот раз он не настаивал, но когда он причесался, она вызывающе сказала:

— У меня назначена в «Вижилансе» встреча с Дюбреем.

Анри быстро повернулся, удар попал в цель:

— Зачем ты хочешь встретиться с Дюбреем?

— Я же тебя предупредила, что на этих днях хочу с ним объясниться.

— По поводу чего?

— У меня есть что ему сказать от своего имени, а также от твоего.

— Прошу тебя не вмешиваться в мои отношения с Дюбреем, — сказал Анри. — Тебе не о чем с ним говорить, а потому незачем и встречаться.

— Извини, но я и так потеряла слишком много времени. Этот человек — твой злой гений, и только я одна могу тебя от него избавить.

Анри почувствовал, как кровь ударила ему в лицо: что она расскажет Дюбрею? Анри свободно высказывался при Польшу в приступах гнева или беспокойства; невозможно предположить, что некоторые его слова будут повторены, но как ее отговорить? Его ждут у Клоди, за пять минут ему ее не убедить, ее надо либо привязать, либо закрыть. Он пробормотал:

— Ты заговариваешься.

— Видишь ли, когда живешь в одиночестве, как я, остается много времени на размышления, — сказала Польшу. — Я думаю о тебе, обо всем, что тебя касается, и иногда у меня возникают видения. Я видела Дюбрея совершенно отчетливо несколько дней назад и поняла, что он сделает все для твоего разрушения.

— Ах! У тебя появились видения! — сказал он. Он искал способа усмирить Польшу и нашел только один: пригрозить разрывом.

— Но я полагаюсь не только на свои видения, — таинственно продолжала Польшу.

— На что же еще?

— Я навела справки, — сказала она, устремив на Анри игривый взгляд; он задумчиво ее рассматривал:

— Разумеется, не Анна сообщила тебе, что Дюбрей намерен меня разрушить.

— Кто говорит об Анне? — сказала она. — Анна еще более слепа, чем ты!

— Так кто же этот экстра-ясновидящий, кто тебя про-светил? — спросил Анри, испытывая смутное беспокойство.

Взгляд Поль стал важным:

— Я говорила с Ламбером.

— С Ламбером? Где ты его видела? — спросил Анри с пересохшим от гнева горлом.

— Здесь. Это преступление? — спокойно возразила Поль.

— Я позвонила ему, чтобы он пришел.

— Когда?

— Вчера. Он тоже не любит Дюбрея, — удовлетворенно заметила она.

— Это злоупотребление доверием! — сказал Анри. При мысли о том, что она говорила с Ламбером, используя свой ограниченный словарь и привычную горячность, у него появилось желание дать ей пощечину.

— Ты всегда говоришь о чистоте, об элегантности, — продолжал он разъяренным тоном, — но женщина, которая разделяет жизнь с мужчиной, знает его мысли и секреты и без всякого предупреждения предпринимает что-то за его спиной, действует грязно, слышишь? — сказал он, схватив ее руку, — грязно!

Она потрясла головой:

— Твоя жизнь — это моя жизнь; у меня есть на нее права.

— Я от тебя никогда не требовал жертв, — сказал он. — В прошлом году я пытался тебе помочь создать собственную жизнь, ты не захотела; это твое дело, но ты не имеешь на меня никаких прав.

— Я не захотела этого из-за тебя, — сказала она, — потому что я тебе необходима.

— Ты считаешь, что мне нужны постоянные сцены? Ты жестоко ошибаешься! Бывают моменты, когда у меня возникает желание больше никогда сюда не возвращаться. И я скажу тебе одно: если ты пойдешь на встречу с Дюбреем, я тебе этого не прощу. Ты меня больше не увидишь.

— Но я хочу тебя спасти! — страстно воскликнула она. — Ты не понимаешь, что губишь себя! Ты соглашаешься на компромиссы, ты будешь выступать в салоне... И я знаю, почему ты не осмеливаешься показать мне то, что пишешь; твоя беспомощность отражается в работе, ты это чувствуешь. Тебе стыдно, так стыдно, что ты запираешь ящик на ключ: вероятно, это что-то мерзкое.

Анри с ненавистью посмотрел на нее:

— Если я покажу тебе рукопись, ты дашь слово, что не пойдешь на встречу с Дюбреем?

Лицо Поль дрогнуло.

— Ты мне ее покажешь?

— А ты дашь мне слово?

Она задумалась.

— Я дам тебе слово, что не пойду сегодня.

— Этого достаточно, — сказал Анри. Он открыл ящик, достал оттуда серо-зеленую тетрадь и бросил ее на кровать.

— Я могу ее прочесть? — спросила Поль дрогнувшим голосом. — Самоуверенность трагической актрисы покинула ее, у нее был жалкий вид.

— Можешь.

— О! Я так рада, — сказала она, робко улыбнувшись. — Сегодня вечером мы ее обсудим, как прежде.

Он не ответил. Он смотрел на тетрадь, которую Поль гладила ладонью. Только бумага и чернила казались такими же беззащитными, как порошки, закрытые на ключ в аптеке его отца.

— До свидания, — крикнула она, перегнувшись через перила лестницы, когда он выбежал из студии.

— До свидания.

Он продолжал бежать по лестнице, напрасно стараясь сохранить хладнокровие. Сегодня вечером, когда он снова увидит Поль, она уже прочтет. Она прочтет каждую фразу, перечитает каждое слово: это убийство. Он остановился. Опираясь о перила, он медленно поднялся на несколько

ступенек, и огромная черная собака с лаем бросилась на него. Он ненавидел эту собаку, эту лестницу, фанатичную любовь Поль, ее молчание, ее вспышки, ее несчастья. Перепрыгивая через две ступеньки, он выскочил на улицу.

* * *

Анри медленно шел по улице. Выхода нет: через две минуты он предстанет перед Поль, почувствует ее взгляд на своем лице, ему надо будет найти для нее слова. «Я буду все отрицать, скажу, что Иветта ничего общего с ней не имеет, что я позаимствовал ее слова, ее жесты, но все изменил».

Он начал подниматься по лестнице. «Она мне не поверит! — подумал он. — Может, она не даст мне и слова сказать. Может быть»

...Он ускорил шаг; у него сжалось сердце и последние ступеньки он просто пробежал. Никакого шума, никакого лая, не слышно было даже музыки по радио: «Молчание смерти», — сказал он себе и с ужасом подумал: «Она убила себя!»

Он остановился у дверей; было слышно, что в комнате разговаривают.

— Войди.

Поль улыбалась, была оживленной; консьержка, сидевшая на диване, поднялась:

— Я со своими историями отняла у вас столько времени.

— Вовсе нет, — сказала Поль. — Вы рассказали мне много интересного.

— Будьте спокойны, завтра я поговорю с хозяином дома, — сказала консьержка.

— Потолок вот-вот обрушится, — весело говорила Поль в то время, как консьержка закрывала за собой двери. — Какая симпатичная женщина! Она рассказала мне удивительные истории о бродягах нашего квартала, о них можно написать целую книгу.

— Я думаю, — сказал Анри. Он смотрел на Поль с разочарованием и облегчением; она проболтала с консьержкой,

и у нее не было времени прочесть рукопись, все надо было начинать сначала, а он хорошо знал, что у него на это не хватит мужества.

— Она помешала тебе прочесть мой роман? — с безразличием произнес он и попытался улыбнуться. — Тебе это очень было надо.

Поль обиженно смотрела на него:

— Конечно, я его прочла!

— А! И что ты о нем думаешь?

— Это поучительно, — просто сказала она.

Он взял тетрадь и с видимым безразличием полистал ее.

— Как тебе нравится Шарваль? Он показался тебе симпатичным?

— Не совсем; но в нем есть истинное великодушие, — сказала Поль. — Я полагаю, ты это хотел подчеркнуть?

Анри утвердительно кивнул головой:

— Тебе понравилась сцена 14 июля?

Поль задумалась:

— Я предпочла бы другой отрывок.

Анри открыл тетрадь на фатальной странице.

— А разрыв с Иветтой, что ты о нем думаешь?

— Захватывающе!

— Ты находишь?

Поль смотрела на него с некоторым подозрением:

— Почему тебя это удивляет? — Она засмеялась. — Ты думал о нас, когда это писал?

Он бросил тетрадь на стол:

— Не говори глупости!

— Это будет твой лучший роман, — величественно сказала Поль. Она нежно провела рукой по волосам Анри. — Я действительно не понимаю, почему ты был таким скрытым.

— Я и сам этого не знаю, — ответил он.

* * *

Анри почувствовал себя оробевшим от тишины; ковер, занавеси, обивка законопатили эту большую богатую ком-

нату; сквозь закрытые двери не доносилось признаков жизни — настолько, что Анри подумал, не опрокинуть ли ему что-нибудь из мебели, чтобы кого-нибудь разбудить.

— Я заставила вас ждать?

— Очень недолго, — вежливо ответил он.

Жозетта стояла перед ним с робкой улыбкой на губах; на ней было хрупкое и нескромное платье янтарного цвета.

«Она не броская», — сказала Клоди. — Эта улыбка, тишина, покрытые мехом диваны явно вызывали на смелые действия, слишком явно. Если бы он воспользовался их сообщничеством, у Анри возникло бы впечатление, что он совращает малолетнюю при содержательнице публичного дома. Он напористо сказал:

— Если не возражаете, сразу приступим к работе: я спешу, у вас есть текст?

— Я знаю монолог наизусть, — сказала Жозетта.

— Давайте!

Он положил свой экземпляр на столик и удобно уселся в кресле, этот монолог был самым трудным; Жозетта в нем ничего не понимала и страшно боялась; Анри стеснялся оттого, что видел, как она изо всех сил старается ему понравиться; он решительно чувствовал себя богатым маньяком, присутствующим при раздевании в борделе высшего класса.

— Попробуем третью сцену из второго акта, — сказал он, — я буду подавать реплики.

— Трудно играть, читая, — сказала Жозетта.

— Попробуем.

Любовная сцена, в ней Жозетта чувствовала себя немного лучше; у нее была хорошая дикция, а лицо и голос были на редкость волнующими: кто знает, что опытный режиссер сумеет из нее вытянуть?

Анри весело сказал:

— Вы пока ничего не можете, но есть надежда.

— Вы думаете?

— Я в этом уверен. Садитесь сюда, я объясню, что это за персонаж.

Она села около него; давненько он не сидел рядом со столь красивой девушкой. Разговаривая, он вдыхал запах ее волос; у ее духов был запах, как у всех духов, но у нее этот запах казался почти естественным, и это вызывало у Анри желание вдыхать другой запах, нежный и влажный, который он угадывал под платьем; ерошить эти волосы, спрятать свой язык в ее красный рот, но это было слишком легко. Он чувствовал, что Жозетта ждет его порыва с обескураживающей решимостью.

— Вы поняли? — спросил он.

— Да.

— Тогда начнем.

Они снова начали сцену, но она старалась вложить в каждую реплику столько души, что получилось намного хуже, чем в первый раз.

— Вы слишком стараетесь, — сказал он. — Будьте проще.

— Ах! У меня никогда ничего не получится! — огорченно произнесла она.

— Будете работать — получится.

Жозетта горестно вздохнула. Бедная девушка! Мамаша к тому же ее упрекает, что она не сумела увлечь его. Анри встал. Он сожалел о своей нерешительности: какое желание вызывал в нем ее рот! Спать с желанной женщиной — он еще помнил, какая это радость.

— Договоримся о следующем свидании, — сказал он.

— Но вы теряете из-за меня время!

— Для меня это не потерянное время, — сказал Анри, улыбаясь. — Если вы не боитесь потерять свое время, может быть, в следующий раз после работы пойдем куда-нибудь вместе?

— Можно.

— Вы любите танцевать?

— Естественно.

— Так пойдем потанцуем.

В следующую субботу Анри застал Жозетту дома, на

улице Габриэль, в салоне с мебелью, обтянутой розовым и белым сатином. Он испытал волнение, снова увидев ее. Настоящая красавица; когда отводишь от нее взгляд, предаешь ее: кожа Жозетты стала бледнее, ее волосы — темнее, чем он их запомнил, а в глазах был блеск глубокого горного потока. Рассеянно подавая ей реплики, Анри взглядом пробежал по юному телу, обтянутому черным бархатом, и говорил себе, что этой красоты и этого голоса будет достаточно, чтобы извинить ее возможную неловкость. Впрочем, если ею правильно руководить, почему Жозетта будет менее ловкой, чем другая актриса? Временами она даже находила волнующие интонации. Он решился попытать счастья.

— Пойдет, — тепло сказал он ей. — Разумеется, надо много работать, но роль пойдет.

— Мне бы так этого хотелось! — сказала она.

— А теперь пойдете танцевать, — сказал Анри. — Я думаю, направимся в Сен-Жермен-де-Пре: что вы на это скажете?

— Как хотите.

Они устроились в погребке на улице Сен-Бенуа под портретом женщины в полумаске. На Жозетте было великолепное платье; она сняла накидку и обнажила круглые зрелые плечи, контрастирующие с ее детским лицом. «Вот чего мне не хватало, чтобы приятно развлекаться, — весело сказал себе Анри, — красивой плутовки».

— Потанцуем?

— Потанцуем.

У него немного кружилась голова оттого, что он держал в объятиях это милое теплое тело. Как он любил это головокружение! Он все еще любил его! И снова любил джаз, дым, молодые голоса, веселье других людей. Он был готов любить эту грудь, этот живот, только прежде, чем сделать какой-то жест, ему хотелось почувствовать, что Жозетта к нему испытывает симпатию.

— Вам здесь нравится?

— Да. — Она колебалась. — Это место особое, правда?

— Думаю, что да. Какие рестораны вам нравятся?

— О! Здесь очень хорошо, — поспешно сказала она.

Едва он пытался вызвать ее на разговор, как у нее появился затравленный вид. Ее мать, вероятно, обучала ее помалкивать. Они промолчали до двух часов ночи, пили шампанское и танцевали. Вид у Жозетты не был ни печальным, ни веселым. В два часа она предложила вернуться домой, а он так и не понял, сделала ли она это из-за скуки, усталости или скромности. Он проводил ее. В машине она вежливо попросила:

— Мне бы хотелось получить вашу книгу.

— Это просто, — он улыбнулся. — Вы любите читать?

— Когда у меня есть время.

— У вас не так часто есть время?

Она вздохнула:

— Не часто.

Она что, совсем глупая? Или диковатая? Или парализована скромностью? Трудно было определить. Она была так красива, что было бы естественно, если бы она была дурой, но в то же время красота делала ее таинственной.

...Люси Бельомм решила, что контракт будет подписан у нее дома после дружеского ужина. Анри позвонил Жозетте, попросив ее отпраздновать с ним это событие. Светским тоном она поблагодарила его за книгу, которую он послал ей с любезным посвящением, и назначила ему свидание вечером в маленьком баре на Монмартре.

— Итак, вы довольны? — спросил он, удерживая на мгновение руку Жозетты.

— Чем? — спросила она. Сегодня она выглядела не очень довольной собой.

— Контрактом. Вы его подпишете, это решено. Разве вам это не доставляет удовольствия? Она поднесла к губам рюмку Виши.

— Мне страшно, — тихо произнесла она.

— Верно не сумасшедший, я тоже; не бойтесь, вы справитесь с ролью.

— Но вы ведь совсем не такой представляли себе свою героиню?

— Теперь я не мог бы представить ее себе другой.

— Это правда?

— Правда.

Это была правда. Она сыграет роль более или менее удачно; но он не хотел себе представить, что у Жанны могли быть другие глаза, другой голос.

— Вы такой милый! — сказала Жозетта.

Она смотрела на него с искренней благодарностью; но предлагала ли она себя из благодарности или по расчету — Анри ждал не этого. Он не двинулся с места. Между приятными паузами они говорили о режиссерах, о распределении ролей, о декорациях. Жозетта оставалась обеспокоенной, Анри проводил ее до дверей, она задержала его руку:

— Так до понедельника, — сказала она сдавленным голосом.

— Вы больше не боитесь? — спросил он. — Вы будете спать спокойно?

— Нет, — сказала она, — я боюсь.

Он улыбнулся:

— Вы не предложите мне виски?

Со счастливым выражением лица она смотрела на него:

— Я не осмеливалась!

Она легко взлетела по лестнице, сбросила меховую накидку, обнажив свой обтянутый черным шелком бюст, и протянула Анри большой стакан, в котором весело позвякивали льдинки.

— За ваш успех! — сказал он.

Она постучала по деревянному столу.

— Не говорите так! Боже мой! Было бы так ужасно, если бы я провалилась!

Он повторил:

— Вы справитесь с ролью!

Она пожала плечами:

— Но я все порчу!

Он улыбнулся:

— Не может быть!

— Но это так, — она колебалась. — Я не должна была вам это говорить, но вы сами перестанете в меня верить. Я сегодня была у хиромантки, она объявила мне, что меня ждет большое разочарование.

— Хиромантки всегда преувеличивают, — убежденно сказал Анри. — Кстати, вы случайно не заказали себе новое платье?

— Да, к понедельнику.

— Так вот, оно будет неудачным, — в этом ваше разочарование.

— О! Это будет ужасно! — сказала Жозетта. — Что я одену к ужину?

— Раз вас ждет разочарование, значит, разочарованием будет платье, — возразил он, смеясь. — Не бойтесь, вы все равно будете самой красивой, — добавил он, — в понедельник, как всегда; но это менее важно, чем завалить роль. Или я не прав?

— У вас очень милая манера устранять препятствия! — сказала Жозетта. — Жаль, что вы не можете занять место Господа Бога.

Она была совсем близко от него; неужели только благодарность освещала ее лицо?

— Но я не уступлю ему свое место! — сказал он, обняв ее.

...Когда Анри раскрыл глаза, он заметил в полутьме светлосерую стену, и его охватила радость этого, следующего дня; она требовала острых и живых удовольствий: холодной воды, перчатки для душа. Он выскользнул из кровати, не разбудив Жозетту, а когда он вышел из ванной, вымывшийся, одетый и голодный, она все еще спала. Он на цыпочках пересек спальню и склонился над ней; она лежала, свернувшись клубком, в испарине, с распущенными волосами, закрывавшими ей глаза, и он почувствовал себя счаст-

ливым оттого, что эта женщина принадлежит ему, что он мужчина. Она приоткрыла один глаз, словно пыталась удержать во втором глазу сон.

— Ты уже встал?

— Да. Пойду выпью кофе в бистро на углу и вернусь.

— Нет! — сказала она. — Я приготовлю тебе чай.

Растерев опухшие глаза, она вылезла из простыней, теплая, в игривой сорочке. Он обнял ее.

— У тебя вид маленького фавна.

Очарованная, она потянулась к нему. Персидская принцесса, маленькая индианка, лиса, вьюнок, прекрасная ветка глицинии. Им всегда доставляет удовольствие, когда им говоришь, что они на что-то похожи, на что-то иное.

— Мой маленький фавн, — повторил он, нежно коснувшись ее губами.

Она нацепила пеньюар, надела тапочки и направилась следом за ним в кухню; небо блестело, белая плитка блестела, Жозетта неуверенно суетилась.

— Молоко или лимон?

— Немного молока.

Она поставила поднос с чаем в будуаре цвета кожи и с любопытством смотрела на стол и пуфы. Почему Жозетта, которая одевалась с таким вкусом, жила в обстановке, столь напоминавшей дурное кино?

— Это ты обставляла эту комнату?

— Мама и я, — Она с беспокойством взглянула на него и быстро сказала:

— Квартира очень красивая.

Когда она перестала жить с матерью? Почему? Ради кого? У него возникло желание задать ей кучу вопросов. У нее за плечами было существование, о котором он ровным счетом ничего не знал. Сейчас не время устраивать ей допрос, но ему было не по себе среди всех этих дурно выбранных безделушек, среди этих невидимых воспоминаний.

— Знаешь, что мы сделаем? Пойдем погуляем: утро такое чудесное!

— Гулять? Где?

— По улицам.

— Ты хочешь сказать, пешком?

— Да. Побродим по улицам.

У нее был растерянный вид:

— Но ведь мне тогда надо одеться?

Он засмеялся:

— Желательно; но тебе не требуется одеться дамой.

— Что же мне одеть?

Как одеваются женщины для прогулок пешком в десять часов утра? Она раскрыла шкафы и ящики, начала примерять шарфы и блузки. Наконец, она натянула длинные шелковые чулки, и Анри вновь ощутил в ладонях воспоминание об этой набухшей в шелке плоти.

— Так хорошо?

— Ты очаровательна.

Она действительно была очаровательна в костюме с зеленым шарфом и поднятыми вверх волосами.

— Ты не находишь, что костюм меня полнит?

— Нет.

Она смотрела в зеркало с озабоченным лицом: что она видела? Быть женщиной, быть красивой, что это за чувство? Как чувствуется ласка шелка на ляжках и теплота живота, ласка глянцевого сатина? И он задал себе вопрос: «Как она вспоминает нашу ночь? Произносила ли она другие имена этим ночным голосом? Какие? Пьер, Виктор, Жак? И что для нее значит имя Анри?»

Он кивнул на свой роман, преднамеренно положенный на столик.

— Ты его прочла?

— Просмотрела, — она поколебалась. — Это глупо, но я не умею читать.

— Тебе скучно?

— Нет, но я тотчас же начинаю мечтать о чем-нибудь другом. Я ухожу...

- И куда ты идешь? Вернее, о чем ты мечтаешь?
 - О, это не ясно; когда мечтаешь, это всегда неясно.
 - Ты думаешь о каких-то местах, о людях?
 - Ни о чем: я просто мечтаю.
- Он обнял ее и с улыбкой спросил:
- Ты часто бывала влюблена?
 - Я? — пожала она плечами. — В кого?
 - Многие были влюблены в тебя: ты так красива.
 - Быть красивой унизительно, — отворачиваясь сказала она.

Он отпустил ее; он и сам не знал, отчего она вызывала в нем столько сочувствия; она жила в роскоши, не работала, у нее были руки мадмуазель, а он перед ней таял от жалости.

— Странно появляться на улице так рано, — сказала Жозетта, поднимая к нему нарумяненное лицо.

— Странно быть здесь с тобой, — сказал он, сжимая ее руку. Он радостно вдыхал воздух улицы; сегодня утром все казалось новым. Весна была новой, она едва намечалась, но в воздухе уже чувствовался теплый заговор; на площади Абесс пахло капустой и рыбой, женщины в халатах подозрительно рассматривали первый салат; их смятые от сна волосы были невообразимого цвета, не то естественного, не то искусственного.

— Посмотри на эту старую фею, — сказал он, указывая на старушку в большой шляпе, покрытую румянами и драгоценностями.

— О! я ее знаю, — сказала она, перестав улыбаться. — Может быть, и я буду когда-нибудь такой.

— Не думаю.

Они молча спустились на несколько ступенек; Жозетта спотыкалась на слишком высоких каблуках. Он спросил:

- Сколько тебе лет?
 - Двадцать один год.
 - Я хочу сказать: на самом деле?
- Она заколебалась:

— Мне двадцать шесть лет. Только не говори маме, что я тебе это сказала, — с испугом добавила она.

— Я уже забыл, — заметил он. — Ты так молодо выглядишь!

Она вздохнула:

- Потому что я за собой слежу, а это утомительно.
- Тогда не утомляйся! — с нежностью сказал он, крепче сжав ее руку. Тебе давно хочется играть в театре?
- Я никогда не хотела быть манекеном, и я не люблю старых мужчин, — сказала она сквозь зубы.

Очевидно, мамаша выбирала ей любовников; может быть, правда, что она еще никогда не любила; в двадцать шесть лет с таким ртом и такими глазами не знать любви! Она вызывала жалость. «А что для нее я? — спросил он себя. — Кем я буду?» Во всяком случае, ее удовольствие этой ночью было искренним, искренним был и этот доверчивый свет в ее глазах. Они вышли на бульвар Клиши, где дремали ярмарочные бараки; двое детишек катались на карусели; американские горки спали под брезентом.

- Ты умеешь играть на японском бильярде?
- Нет.

Она ловко встала рядом с ним перед подмостками, и он спросил:

- Ты не любишь ярмарки?
- Я никогда не была на ярмарке.
- Ты никогда не каталась на американских горках или в поезде-призраке?

— Нет. Когда я была маленькой, мы были бедны. Потом меня отдали в пансион; а когда я оттуда вышла, я была уже большая.

- Сколько тебе было?
- Шестнадцать лет.

Она прилежно бросала деревянные шары в круглые лузы.

— Это трудно.

— Да нет, посмотри, ты почти выиграла, — он снова взял ее под руку. — В один из ближайших вечеров мы поедем

кататься на деревянных лошадах.

— Ты сядешь на деревянную лошадь? — недоверчиво спросила она.

— Разумеется, если я не буду один.

Она снова заковыляла по неровной улице.

— Ты устала?

— Мне больно от туфель.

— Зайдем сюда, — сказал Анри, толкнув первую попавшуюся дверь быстро со столиками, накрытыми клеенкой.

— Что ты будешь пить?

— Рюмку виши.

— Почему всегда виши?

— Из-за печени, — печально объяснила она.

— Рюмку виши, рюмку красного вина, — заказал Анри. Он указал на висящее на стене объявление. — Смотри!

Своим глубоким голосом Жозетта медленно прочла: «Боритесь с алкоголизмом, пейте только вино».

Она искренне рассмеялась.

— Забавно! Ты знаешь веселые места.

— Я никогда здесь не был, но когда гуляешь, обнаруживаешь кучу вещей. Ты никогда не гуляешь?

— У меня нет времени.

— Что же ты делаешь?

— Есть столько дел! Курс дикции, покупки, парикмахер; ты не можешь себе представить, сколько времени занимает парикмахер; потом есть чаепития, коктейли...

— Тебя все это занимает?

— А ты знаешь развлекающихся людей?

— Я знаю людей, которые довольны жизнью. Например, я. Она ничего не сказала, и он тихонько обнял ее.

— Что нужно сделать, чтобы ты была довольна?

— Нужно не нуждаться больше в маме и быть уверенной, что я никогда не буду бедной, — выпалила она одним духом.

— Так оно и будет. И что ты тогда будешь делать?

— Я буду довольна.

— Но что ты будешь делать? Путешествовать? Будешь вести светский образ жизни?

Она пожала плечами.

— Я об этом не думала.

Она вытащила из сумочки золотую пудреницу и подправила помадой линию рта:

— Мне надо идти; у меня примерка в мамином ателье, — она с беспокойством взглянула на Анри. — Ты действительно думаешь, что платье будет неудачным?

— Да нет же, — ответил он смеясь, — я думаю, что хиромантка ошиблась: это с ними случается. У тебя будет красивое платье?

— Увидишь его в понедельник, — Жозетта вздохнула. — Для рекламы я должна иногда появляться на людях, а для этого надо одеваться.

— Тебе не надоедает наряжаться?

— Если бы ты знал, как утомительны примерки! После них у меня целый день болит голова.

Он поднялся, и они направились к стоянке такси.

— Я провожу тебя.

— Не беспокойся.

— Но это для меня удовольствие, — сказал он с нежностью.

— Ты очень мил.

Когда она этим голосом и с этим взглядом произносила «Ты очень мил», это трогало его сердце. В такси он положил голову Жозетты себе на плечо и спросил себя: «Что я могу для нее сделать? Помочь ей стать актрисой, да, но она не особенно любит театр, это не заполняет пустоту, которую он в ней ощущал. А если ее ждет неуспех? Она не была удовлетворена суровой пустотой своей жизни, но чем ее заинтересовать? Попробовать с ней разговаривать, развить ее ум... Не водить же ее по музеям, таскать по концертам, снабжать книгами, вывозить в свет»... Он нежно поцеловал ее волосы. Надо ее любить, с женщинами всегда

к этому приходишь; их всех надо любить исключительной любовью:

— До вечера! — сказал он.

— Да. Буду ждать тебя в нашем баре.

Она слегка пожала ему руку, и он почувствовал, что они одновременно подумали: до ночи в нашей постели. Когда она исчезла в роскошном здании, он направился пешком к Сене.

Одиннадцать тридцать. «Я приду к Поль раньше назначенного времени, это доставит ей удовольствие», — сказал он себе. Сегодня утром ему хотелось всем доставить удовольствие. «Однако, — подумал он с некоторой тревогой, — мне следует с ней поговорить».

После того, как он держал в объятиях Жозетту, ему невыносима была мысль о том, что придется провести ночь с Поль. «Может быть, ей это будет безразлично, она прекрасно знает, что я ее больше не хочу», — подумал он с надеждой. Поль не узнала себя в печальной героине его романа; однако после чтения романа она переменялась, больше не устраивала сцен, не протестовала, видя, как Анри понемногу переносит в свой гостиничный номер бумаги и одежду; он ночевал там очень часто. Кто знает, не воспримет ли она с некоторым облегчением предлагаемую ей спокойную дружбу? Это весеннее небо было таким радостным, что казалось возможным жить искренне, не вызывая ни у кого страдания.

На углу улицы Анри с сомнением остановился перед продавцом цветов: ему хотелось принести, как когда-то, цветы Поль, большой букет бледных фиалок; но он боялся ее удивления. «Бутылку хорошего вина, это будет менее нарочитым», — решил он, входя в соседнюю лавку.

Поднимаясь по лестнице, он был весел. Ему хотелось пить, он уже ощущал во рту крепкий вкус старого бордо и прижимал бутылку к сердцу, словно она подытоживала дружеские чувства, которые он испытывал к Поль.

Не постучав, очень тихо, как прежде, он вставил ключ в

замочную скважину и толкнул дверь; Поль ничего не слышала; она стояла на коленях перед ковром, усыпанным старыми письмами: он узнал свои письма; она держала в руках его фотографию и смотрела на нее с выражением, которого он у нее никогда прежде не видел. Она не плакала, и по ее сухим глазам было понятно, что в слезах теплится запоздалая надежда, она же созерцала лицом к лицу свою судьбу, от которой она ничего не ждала, но все еще была на все согласна. Она была так одинока перед инертным изображением, что Анри почувствовал, что утратил все чувства. Он закрыл дверь, так как не мог избавиться от ярости, парализовавшей его жалость. Когда он постучал, послышался беспокойный шум хрустящего шелка и бумаги, затем она неуверенным голосом сказала:

— Войдите!

— Что ты тут делала?

— Перечитывала старые письма; я не ждала тебя так рано.

Она бросила письма на столик, спрятала фотографию; лицо ее было спокойным, но мрачным; ему пришлось признать, что она давно не была веселой. Он с отвращением поставил бутылку на стол.

— Ты бы поступила намного лучше, если бы не зарывалась в прошлом, а жила больше в настоящем, — сказал он.

— О! Ты знаешь настоящее! — она бросила слепой невидящий взгляд вокруг и вспомнила, что не накрыла стол.

— Хочешь, чтобы мы пошли в ресторан?

— Нет, нет! У меня работы на одну минуту.

Она направилась к кухне, а он протянул руку к письмам.

— Оставь их! — с силой сказала Поль.

Она схватила их и бросила в стенной шкаф. Он пожал плечами. В одном она была права: все эти старые застывшие слова стали ложью. Он видел, как Поль суетится вокруг стола. Нет, не так просто сказать ей о дружбе.

Они сели друг против друга перед блюдом с закусками, и Анри откупорил бутылку.

— Ты ведь любишь красное бордо, да? — поспешно спросил он.

— Конечно, — с безразличием ответила она.

Разумеется, для нее это не праздничный день; предположить, что он отпразднует с Поль свою новую любовь, было верхом ослепления и эгоизма; но, продолжая себя ругать, Анри чувствовал, как в нем нарастает злоба.

— Ты все-таки должна иногда выходить из дому, — сказал он.

— Выходить? — повторила она, словно упав с неба.

— Да. Высовывать нос на улицу, видеться с людьми.

— Для чего?

— Но ты же запираешься на весь день в этой дыре!

— Я очень люблю эту дыру, — с печальной улыбкой сказала она. — Мне она не надоедает.

— Не можешь же ты продолжать подобное существование! Ты не хочешь петь, ладно, это твое дело. Но попытайся найти для себя какое-то занятие.

— Какое?

— Давай поищем.

Она покачала головой:

— Мне тридцать семь лет, и я не знаю никакого ремесла. Я могу стать только тряпичницей.

— Можно научиться, ничто не мешает тебе учиться.

Она с беспокойством взглянула на Анри:

— Ты хочешь, чтобы я сама зарабатывала себе на жизнь?

— Это не вопрос денег, — живо отозвался он. — Я хотел бы, чтобы ты чем-нибудь заинтересовалась, чем-нибудь занялась.

— Я интересуюсь нами, — сказала она.

— Этого недостаточно.

— Мне этого достаточно вот уже десять лет.

Он собрал все свое мужество:

— Послушай, Поль, ты хорошо знаешь, что между нами все переменялось, незачем себе лгать. У нас была большая, красивая любовь; признаемся, что она перерастает в друж-

бу. Это не означает, что мы будем видеться реже, вовсе нет, — поспешно сказал он, — но ты должна обрести независимость.

Она пристально на него посмотрела:

— У меня с тобой никогда не будет дружбы.

— Но нет, Поль...

Она перебила его:

— Посмотри, сегодня утром ты не дождался назначенного времени, ты пришел на двадцать минут раньше; и ты постучал так нервно. Ты называешь это дружбой? Ты ошибаешься.

Гнев охватил его перед этим упрямством, но он вспомнил, какое отчаяние он видел в ее лице, враждебные слова застряли у него в горле. Они в молчании закончили еду. Лицо Поль исключало всякую болтовню. Выйдя из-за стола, она спросила безучастным тоном:

— Ты вернешься сюда сегодня вечером?

— Нет.

— Ты не часто возвращаешься, — печально улыбнувшись, сказала она. — Это входит в твой новый план дружбы?

— Так получается.

Она долгим взглядом посмотрела на него и медленно сказала:

— Я уже говорила тебе, что теперь люблю тебя великодушно, с уважением к твоей свободе. Это означает, что я не прошу никакого отчета; ты можешь спать с другими женщинами и умалчивать это, не чувствуя себя виноватым передо мной. Я к твоей повседневной жизни все более безразлична.

— Но мне нечего от тебя скрывать, — сказал он стесняясь.

— Я хочу тебе сказать, — важно сказала она, — что тебе не следует испытывать угрызений совести; что бы с тобой ни случилось, ты можешь приходить сюда ночевать, не считая себя недостойным. Я буду ждать тебя сегодня ночью.

«Тем хуже! — подумал Анри, — она этого хотела!» — и он громко сказал:

— Я буду говорить с тобой откровенно, я нахожу, что мы не должны больше проводить вместе ночи. Ты так держишься за прошлое, значит ты прекрасно знаешь, какие чудесные ночи у нас были прежде; не будем портить воспоминание о них. Теперь у нас недостаточно желания.

— Ты больше не испытываешь ко мне желания? — недоверчиво спросила Поль.

— Недостаточно, — сказал он. — Так же, как и ты ко мне, — добавил он. — Не говори мне обратное, у меня тоже есть память.

— Но ты ошибаешься! — сказала Поль. — Ты трагически ошибаешься! Это ужасное недоразумение. Я не переменилась!

Он знал, что она лжет; но лгала она не только ему, но и себе.

— Во всяком случае, я переменялся, — мягко сказал он. — У женщин это, вероятно, по-другому, но мужчина не может до бесконечности желать одну и ту же женщину. Ты такая же красивая, как прежде, но ты стала мне слишком близкой.

Он с тревогой искал лицо Поль и пытался ей улыбнуться. Она не плакала: ее словно парализовало от ужаса; она с усилием прошептала:

— Ты больше не будешь спать здесь? Именно это ты только что сказал?

— Да, но это не многое изменит...

Она жестом остановила его; она принимала только ложь, созревшую в ней: было одинаково трудно смягчить правду и навязать ее ей.

— Уходи, — без гнева сказала она. — Уходи, — повторила она, — мне надо побыть одной.

— Позволь мне тебе объяснить...

— Пожалуйста, уходи.

Он встал:

— Как хочешь. Но я вернусь завтра, и мы поговорим, — сказал он.

Она не ответила: он закрыл дверь и задержался на лестничной площадке, надеясь услышать рыдание, падение; но он слышал лишь тишину. Спустившись по лестнице, Анри подумал о собаках, которым перерезают голосовые связки прежде, чем подвергнуть их мучениям вивисекции: слышать их вой было бы нестерпимо.

* * *

Они молча шли по улице, и Анри спросил:

— Ты действительно хочешь со мной поговорить?

— Да. — Венсан искал взгляд Анри. — Это правда, что твоя пьеса будет поставлена в Студии 46 в октябре и что маленькая Бельомм будет в ней играть главную роль?

— Сегодня вечером я подписываю контракт с Верноном. Почему ты об этом спрашиваешь?

— Ты, конечно, не знаешь, что мамаша Бельомм была побрита, и притом вполне заслуженно. У нее есть замок в Нормандии, там она принимала немецких офицеров. Она с ними спала, малышка, вероятно, тоже.

— Почему ты мне рассказываешь эти сплетни? — спросил Анри. — С каких пор ты заделался шпиком? Неужели ты думаешь, что они меня интересуют?

— Это не сплетни; есть папка, и мои товарищи ее видели: письма, фотографии, которые один парень собрал для забавы, полагая, что они могут ему когда-нибудь сослужить службу.

— Ты сам видел эту папку?

— Нет.

— Так я и думал. Во всяком случае, мне на это наплевать, — с негодованием сказал Анри. — Это меня не касается.

— Помешать подлецам снова встать у власти, отказаться иметь с ними дело, — это касается всех нас.

— Пойди расскажи это кому-нибудь другому.

— Послушай, не злись, — сказал Венсан. — Я хотел тебя

предупредить, что мамашу Бельомм держат на примете, и было бы противно, если бы из-за этой шкуры у тебя начались неприятности.

— Не беспокойся за меня, — сказал Анри.

— Хорошо, — сказал Венсан. — Я только хотел тебя предупредить.

Они молча продолжали путь, но в груди Анри звучал безостановочно повторявшийся голос: «И малышка тоже». Весь день он скандировал этот припев. Жозетта почти признала, что ее мать не раз продавала ее; впрочем, все, чего ждал от нее Анри, это еще нескольких ночей. Во время бесконечного ужина, пока он смотрел, как она с сочувствием улыбается Вернону, он испытывал тревожное желание оказать с ней наедине и расспросить ее.

— Итак, вы довольны, контракт подписан! — сказала Люси.

Ее платье и драгоценности прилегали к коже так же плотно, как волосы. Золоченая прядь вилась среди черных волос, и Анри с восхищением смотрел на нее: интересно, какая у нее была физиономия под выбритым черепом?

— Я очень рад.

— Дюдюль вам скажет, что когда я беру дело в свои руки, можно не беспокоиться.

— О! Это необычная женщина, — спокойно сказал Дюдюль.

Клоди уверяла, что любовник Люси Дюдюль был великим и честным человеком. Под серебристыми волосами у него было спокойное открытое лицо, какое можно встретить только у мошенников с размахом: у тех, кто достаточно богат для того, чтобы купить собственную совесть; впрочем, он, может быть, и был честен в соответствии с собственным кодексом.

— Передайте Поль наше огорчение, что она не пришла! — сказала Люси.

— Она очень устала, — сказал Анри.

Он склонился перед Жозеттой, прежде чем уйти. Все

женщины были в черном, на них блестели драгоценности; она тоже была в черном. Лицо ее было раздавлено массой волос, она, улыбаясь, протянула ему руку. Весь вечер она была прилежно вежлива и сохраняла внешнее безразличие. Неужели лицемерие давалось ей так легко? Она была так проста, так искренна, так невинна ночью. С тревогой, нежностью, жалостью и ужасом Анри задавал себе вопрос, не было ли в том досье фотографий.

Вот уже несколько дней, как снова свободно разъезжают такси, на площади Миэтт стояло три машины, и Анри взял такси, чтобы добраться до Монмартра; он успел заказать виски, когда Жозетта опустилась рядом с ним в глубокое кресло:

— Вернон был прелестен, — сказала она, — к тому же он педераст, так что мне повезло, он не будет мне докучать.

— Что ты делаешь, когда тебе докучают мужчины?

— В зависимости от того, кто докучает. Иногда это делают деликатно.

— А немцы тебе не очень докучали во время войны? — спросил Анри, стараясь сохранить естественный тон.

— Немцы? — она покраснела до кончиков волос. — Почему ты у меня об этом спрашиваешь? Что тебе наговорили?

— Что твоя мать принимала немцев в своем замке в Нормандии.

— Замок был оккупирован, это не наша вина. Люди в поселке распускали подлые сплетни, потому что они презирают маму: впрочем, она того заслужила, она не располагает к себе людей. Но она не сделала ничего плохого, она всегда держала немцев на расстоянии.

Анри улыбнулся:

— А если это не так, ты мне все равно не скажешь.

— О! Почему ты так говоришь? — спросила она, глядя на него с трагической миной. Капли слез затуманили ее глаза. Он был потрясен своей властью над этим красивым созданием.

— У твоей матери была швейная мастерская, и поэтому

угрызения совести ее не заедают; она, вероятно, пыталась использовать и тебя.

— Ты так думаешь? — сказала она с растерянным видом.

— Предполагаю, что ты была неосторожной, что ты гуляла с немецкими офицерами, например.

— Я была вежливой, и больше ничего. Я с ними разговаривала, иногда они отвозили меня через поселок домой. — Жозетта пожала плечами. — Я против них ничего не имела, знаешь, они были очень деликатны, а я была молода, я ничего не понимала в этой войне, мне хотелось, чтобы все это кончилось. — Она быстро добавила. — Теперь я знаю, какими ужасными они были в концлагерях...

— Ты не так много знаешь, но это ничего не значит, — ласково сказал Анри. В 43-м году она была не так молода: Надин тогда было всего семнадцать лет. Но их нельзя сравнивать: Жозетта была плохо воспитана, плохо любима, никто ей ничего не объяснил. Она слишком любезно улыбалась немецким офицерам, когда встречала их на дороге в поселке, ездила в их машинах: этого было достаточно, чтобы вызвать возмущение населения. Было ли что-то большее? Не лгала ли она? Она была так чистосердечна или так лицемерна: как знать? И по какому праву? — подумал Анри с внезапным отвращением. Ему было стыдно разыгрывать из себя полицейского.

— Ты мне веришь? — робко спросила она.

— Верю, — он привлек ее к себе. — Не будем говорить об этом, не будем ни о чем говорить. Вернемся к тебе, и поскорее.

* * *

Процесс господина Ламбера открылся в Лионе в конце мая: разумеется, вмешательство сына помогло ему, он также использовал влиятельных лиц и был оправдан. «Тем лучше для Ламбера», — подумал Анри, узнав о приговоре. Через четыре дня Ламбер работал в редакции, когда ему позвонили из Лилля: его отец должен был прибыть в Париж вечерним скорым, но он выпал из поезда. Он в тяжелом

состоянии. На самом деле через час выяснилось, что он скончался. Не издав ни звука, Ламбер завел мотоцикл, а когда после похорон вернулся в Париж, он заперся дома, не подавая признаков жизни.

«Надо будет повидать его, пойду после обеда», — решил Анри через несколько дней. Он тщетно пытался дозвониться, Ламбер отключил телефон. «Грязная работа», — повторял себе Анри, небрежно проглядывая разложенные на столе бумаги. Человек был старым, да и не очень симпатичным, Ламбер испытывал к нему скорее жалость, чем любовь: однако Анри не мог безразлично отнестись к этой истории. По странному капризу судьбы сначала был произнесен оправдательный приговор, а потом произошел несчастный случай. Он попытался переключить свое внимание на отпечатанные листки.

«Полдень. Жозетта должна вот-вот прийти, а я еще не прочел папку!» — подумал он с огорчением. Караганда, Царское, Узбек: ему не удавалось оживить эти варварские названия и цифры. Однако было желательно ознакомиться с этими документами до послеобеденного собрания. На самом деле, если ему не удавалось просмотреть документы, то лишь потому, что он им не особенно доверял. Ведь их представил Скрясин! Был ли на самом деле этот таинственный советский чиновник, сбежавший из красного ада специально для передачи этой информации? Так говорил Самазелль, он даже утверждал, что опознал его; но Анри оставался скептически настроенным. Он перевернул страницу.

— Ку-ку!

Жозетта вошла в белом шерстяном пальто; она распустила по плечам свои великолепные волосы; прежде, чем она закрыла за собой дверь, Анри поднялся и обнял ее. Обычно после первого поцелуя он оказывался в микромире среди безделушек; сегодня метаморфоза была более трудной, чем всегда, ибо заботы не покидали его.

— Так ты здесь живешь? — весело спросила она. — Я по-

нимаю, почему ты меня никогда не приглашал: это ужасное место! Но где ты держишь книги?

— У меня их нет. Когда у меня после прочтения освобождается книга, я даю ее прочесть друзьям, которые обычно мне ее не возвращают.

— Я думала, что писатели живут среди стен, уставленных книгами, — она с сомнением смотрела на него. — Ты уверен, что ты настоящий писатель?

Он засмеялся:

— Во всяком случае, я пишу.

— Ты работаешь? Я пришла не слишком рано? — спросила она, присаживаясь

— Дай мне еще пять минут, и я к твоим услугам. Хочешь посмотреть газеты?

Она состроила гримасу.

— Есть происшествия?

— Я думал, что ты приобщишься к политическим статьям, — с упреком сказал он. — Нет?

— Это не моя вина, я пыталась, — сказала Жозетта. — Но фразы прыгают у меня перед глазами. У меня такое впечатление, что все это меня не касается, — с несчастным видом добавила она.

— Тогда развлекайся историей о повешенном в Понтуазе, — сказал он.

...Норильск, Игарка, Абзагашев, — названия и цифры оставались мертвыми. У него тоже фразы прыгали перед глазами, и было впечатление, что все это его не касается. Это происходило так далеко, в таком чужом мире, что его трудно было осуждать.

— У тебя есть сигарета? — тихо спросила Жозетта.

— Да.

— И спички.

— Пожалуйста. Почему ты говоришь так тихо?

— Чтобы не мешать тебе.

Он встал, смеясь:

— Я кончил. Куда повести тебя обедать?

— В «Иль Борроне», — убежденно ответила она.

— Это ультра-снобистское заведение, которое открыли позавчера? Нет. Пожалуйста, придумай что-нибудь другое.

— Но я там заказала столик, — сказала она.

— Можно отказаться, — он протянул руку к телефону, она остановила его:

— Дело в том, что нас там ждут.

— Кто?

Она опустила голову, а он повторил:

— Кто нас ждет?

— Это мамина идея; мне нужно срочно заняться рекламой. «Иль» — это ресторан, о котором говорят. Она попросила журналистов сделать фотоинтервью в стиле: «Автор поддерживает свою актрису...»

— Нет, дорогая, — сказал Анри. — Пусть тебя фотографируют, кто хочет, сколько хочет, но без меня.

— Анри! — глаза Жозетты наполнились слезами; она плакала с детской легкостью, которая его волновала. — Я специально сшила это платье, я была так рада...

— Есть много приятных ресторанов, где мы можем спокойно посидеть.

— Но ведь меня ждут! — с отчаянием сказала она, устремив на него влажные глаза. — Послушай, ты можешь что-нибудь сделать для меня?

— Но, любовь моя, что ты делаешь для меня?

— Я? Но ведь я...

— Да, ты... — весело сказал он. — Но ведь я тоже... я...

Она не смеялась:

— Это не одно и то же, — серьезно сказала она. — Я — женщина.

Он посмеялся еще и подумал: она права, она тысячу раз права, это не одно и то же.

— Ты так дорожишь этим обедом? — спросил он.

— Ты не понимаешь! Это необходимо для моей карьеры. Если хочешь преуспеть, нужно появляться на людях и заставить о себе говорить.

— Главное — хорошо делать свое дело; хорошо играй, и о тебе будут говорить.

— Я хочу, чтобы на моей стороне были все шансы, — сказала Жозетта. Ее лицо посуровело. — Ты думаешь так просто просить милостыню у мамы? Когда я привожу ее в свои салоны, она мне в присутствии гостей говорит: «Почему ты носишь сабо?» Ты думаешь, это так весело?

— Чем плохи эти туфли? Они очень красивы.

— Они хороши для обеда за городом; для города они слишком спортивны.

— Я всегда считал, что ты так элегантна...

— Потому что ты мало в этом разбираешься, дорогой, — печально ответила она. — Ты не знаешь, что такое жизнь не сделавшей карьеру женщины.

Он погладил ее мягкую руку:

— Ты сделаешь карьеру, — сказал он. — Пошли фотографироваться в «Иль Борроме».

Они спустились по лестнице, и она спросила:

— У тебя есть машина?

— Нет. Мы возьмем такси.

— А почему у тебя нет собственной машины?

— Ты еще не заметила, что у меня нет денег? Ты думаешь, у тебя не было бы самых красивых туфель в Париже?

— Но почему у тебя нет денег? — спросила она, когда они устроились в такси. — Ты умнее, чем мама и Дюдюль. Ты не любишь деньги?

— Все любят деньги; но для того, чтобы их иметь, надо любить их больше всего на свете.

Жозетта задумалась.

— Нельзя сказать, что я люблю их больше всего на свете, но я люблю вещи, которые можно на них купить.

Он обнял ее за плечи.

— Может быть, моя пьеса сделает нас очень богатыми; тогда мы купим тебе вещи, которые ты любишь.

— И ты будешь водить меня в роскошные рестораны?

— Иногда, — весело ответил он.

Но он чувствовал себя не в своей тарелке, когда они шли по цветущему саду под взглядами шикарно одетых женщин и мужчин с лоснящимися лицами. Кусты роз, старый тополь, веселье залитой солнцем воды, — вся эта счастливая красота оставляла его бесчувственным, и он спросил себя: «Зачем я сюда пришел?»

— Тут красиво, правда? — пылко спросила Жозетта. — Я обожаю деревню, — добавила она. Широкая улыбка изменила ее решительное лицо, и Анри тоже улыбнулся.

— Очень красиво: что ты будешь есть?

Она выглядела совсем молодо в платье из зеленого полотна, открывавшего ее мягкие крепкие руки; к тому же под платьем она была так естественна! Нормально, что она испытывает желание преуспеть, быть на людях, одеваться, развлекаться; было приятно, что она искренне признается в этом, не заботясь о том, были ли эти желания благородными или корыстными. Даже если ей случалось солгать, она была правдивее, чем Поль, которая никогда не лгала; в благородном кодексе Поль было что-то лицемерное; Анри представил себе высокомерную маску, которую она противопоставила бы этой роскоши, удивленную улыбку Дюбрея, суровый взгляд Анны. Они, вероятно, изумятся, когда появится это интервью с фотографиями.

«Мы и вправду немного пуритане, — подумал он. — В том числе и я. Мне хотелось избежать этого обеда, чтобы не признаться, что у меня есть средства себе его позволить. Однако в «Красном баре» с товарищами я не считаю денег, которые трачу за один вечер».

Он склонился к Жозетте:

— Ты довольна?

— О! Ты так любезен! — сказала она. — На свете существуешь только ты.

Надо было быть глупым, чтобы пожертвовать подобной улыбкой ради своего табу! Бедная Жозетта! У нее не так часто бывает повод улыбаться. «Не весело быть женщиной», — подумал он, глядя на нее. Его история с Поль за-

канчивалась плачевно, он ничего не смог дать Надин. Жозетта... ну, что ж, здесь будет иначе. Она хотела преуспеть, он сделает так, чтобы она преуспела. Он любезно улыбнулся приближавшимся журналистам.

* * *

Когда два часа спустя такси высадило его перед домом Ламбера, Надин выходила из дверей. Она сердечно ему улыбнулась; считая, что сыграла значительную роль в их истории, она всегда была с ним любезна.

— И ты здесь! Это ужас, сколько народу окружает бедного сироту!

Анри недовольно на нее взглянул:

— Эта история не так смешна.

— А что ему страдать из-за старого негодяя? — спросила Надин. — Мне понятно, что моя роль — быть сестрой милосердия и утешительницей, но я не могу. Сегодня я была полна добрых намерений, но пришел Воланж, и я уступила ему свое место.

— Воланж наверху?

— Ну да. Ламбер с ним часто видится, — заметила Надин, так что Анри не уловил коварства в ее небрежном тоне.

— Я все же поднимусь, — сказал Анри.

— Желаю тебе получить удовольствие.

Он медленно поднялся по лестнице. Ламбер часто видится с Воланжем: почему он об этом ему не говорил? Он боится, что меня это разозлит, — подумал он. — Факт, что это его злит. Он позвонил. Ламбер ему слабо улыбнулся.

— Ах! Это ты? Как это любезно...

— Какой счастливый случай, — сказал Луи. — Мы не виделись уже несколько месяцев!

— Месяцев! — Анри повернулся к Ламберу; он выглядел сиротой в фланелевом костюме, лацканы которого были обвиты черным крепом,

— Тебе, вероятно, не очень хочется в эти дни выходить из дома, — сказал Анри, — но сегодня после обеда у Дюбрея важное совещание. «Эспуар» предстоит принять ре-

шения, и я бы очень хотел, чтобы ты меня сопровождал.

На самом деле Ламбер ему был не нужен, но он хотел оторвать его от грустных размышлений.

— У меня не это в голове, — сказал Ламбер. Он бросился в кресло и мрачно изрек:

— Воланж уверен, что отец погиб не случайно, он был убит.

Анри вздрогнул:

— Убит?

— Двери поезда сами по себе не открываются, — сказал Ламбер. — И он не кончал жизнь самоубийством в тот момент, когда был оправдан.

— Ты не помнишь историю с Молинари, случившуюся между Лионом и Балансом? — спросил Луи.

— А историю с Пералем? Они тоже выпали из поезда после оправдательного приговора.

— Твой отец был старым, усталым, — сказал Анри. — Волнения процесса могли вывести его из себя.

Ламбер покачал головой:

— Я узнаю, кто это сделал! — сказал он. — Я это узнаю.

Руки Анри сжались. Вот что он вынашивал всю эту неделю: подозрение.

«Нет! — умолял он мысленно, — только не Венсан! Не Венсан и никто другой!» Молинари, Пераль, — эти были ему безразличны, может быть, старый мосье Ламбер был таким же негодяем, как они; он слишком отчетливо видел кровотоющее желтое лицо, освещенное удивленными голубыми глазами. Было бы так хорошо, если бы это был несчастный случай.

— Во Франции существуют банды убийц, это факт, — сказал Луи, вставая. — Как ужасна ненависть! — Наступило молчание, и он примирительно сказал:

— Приходи ко мне поужинать в один из ближайших вечеров, мы теперь не встречаемся, это слишком глупо; есть столько вещей, о которых мне хотелось бы поговорить с тобой.

— Как только у меня будет время, — уклончиво ответил Анри и спросил:

— Эти дни в Лилле были трудными?

Ламбер пожал плечами:

— Кажется, не очень мужественно выглядеть потрясенным, когда у тебя убивают отца! — злобно сказал он. — Тем хуже! Признаю, что это на меня произвело ужасное впечатление.

— Понимаю, — сказал Анри, улыбнувшись. — Оставь эти женские сказки о мужестве.

Какие чувства испытывал Ламбер к отцу? Конечно, здесь была смесь восхищения, отвращения, уважения, безнадежной нежности; во всяком случае, этот человек для него много значил. Анри сказал взволнованным тоном:

— Не зарывайся в нору, не порть себе кровь. Сделай усилие, пойдем со мной; тебе будет интересно, и ты мне окажешь услугу.

— О! Ведь у тебя будет мой голос, — сказал Ламбер.

— Мне хотелось бы знать твое мнение, — сказал Анри. — Скрясин считает, что видный советский чиновник, сбежавший из СССР, предоставил ему сенсационные сведения: разумеется, улики против их строя; он побуждает Самазелля к тому, чтобы «Эспуар», «Вижиланс» и Революционный Социализм помогли ему их распространить. Какую они имеют ценность? Я ознакомился с этими сведениями, но у меня нет возможности их проверить.

Лицо Ламбера оживилось:

— Ах, это мне интересно, — сказал он, неожиданно поднявшись. — Это меня очень волнует.

Когда они вошли в кабинет Дюбрея, тот разговаривал с Самазеллем:

— Поймите же, что опубликовать эту информацию сенсационно! — говорил Самазелль. — Последний пятилетний план принят в марте, о нем почти ничего не известно. Вопрос о трудовых лагерях взбудоражит общественное мнение. Заметьте, он был уже поднят перед войной;

особенно им занималась фракция, к которой я принадлежу; но в то время мы не встретили отклика. Сейчас все оказались вынужденными занять определенную позицию по отношению к СССР, и мы сможем представить эту страну в свете сегодняшнего дня.

Голос Дюбрея казался незначительным после могучего баса:

— Априори, этот вид свидетельства подозрителен вдвойне, — сказал он. — Прежде всего потому, что обвинитель давно приспособился к режиму, который он теперь разоблачает, затем потому, что раз он с ним порвал, мы не можем ждать от него объективности.

— Что нам о нем известно? — спросил Анри.

— Его зовут Георгий Пельтов, он был директором Сельскохозяйственного института в Темрюке... — сказал Самазелль, — и месяц назад сбежал из русской зоны Германии в западную. Его личность полностью установлена.

— Но не его характер, — вставил Дюбрей.

Самазелль сделал нетерпеливый жест:

— Во всяком случае, вы изучили папку, переданную нам Скрясиным. Русские сами признают существование лагерей и административных высылков.

— Согласен, — сказал Дюбрей. — Но сколько людей в этих лагерях? Вот в чем вопрос.

— Когда я в прошлом году был в Германии, — сказал Ламбер, — ходили слухи, что в Бухенвальде никогда не было столько заключенных, как после русского освобождения.

— Пятнадцать миллионов кажется мне умеренной цифрой, — сказал Самазелль.

— Пятнадцать миллионов! — повторил Ламбер.

Анри почувствовал, как к его горлу подкатила паника. Он уже слышал разговоры о лагерях, но смутные; он и внимания на них не обратил, мало ли что говорят! Что касается папки, он ее пролистал без особой веры. Он остерегался Скрясина: на бумаге цифры казались столь же вымышлен-

ными, как и имена с их звучанием в стиле барокко. Но существует русский чиновник, Дюбрей принимает эту версию всерьез. Незнание очень удобно, но оно не дает представления о реальности. Он был с Жозеттой в «Иль Барроне», стояла прекрасная погода, у него возникали угрызения совести по поводу легко разоружаемого сознания. А в это время во всех уголках земли людей морили голодом, эксплуатировали, убивали.

Скрясин метеором ворвался в комнату, и все взоры устремились к незнакомцу с черными с проседью волосами, с блестящими, как антрацит, глазами, который без улыбки следовал за ним с неподвижным лицом, какое бывает у человека, рожденного слепым. Его черные, как уголь, брови смыкались над острым носом; он был высок и безупречно одет.

— Мой друг Георгий, — сказал Скрясин. — Мы приблизительно таким себе его и представляли. — Он осмотрелся.

— Место абсолютно надежное? Нас не подслушивают? Кто живет над вами?

— Очень безобидный преподаватель фортепиано, — сказал Дюбрей. — А люди с этажа под нами уехали в отпуск.

Впервые Анри не улыбался важному виду Скрясина; этот высокий мрачный человек придавал всей сцене волнующую торжественность. Все сели, и Скрясин сказал:

— Георгий может говорить по-русски или по-немецки. У него с собой документы, которые он прокомментирует для вас. Из всех вопросов, на которые он проливает ужасающий свет, вопрос о трудовых лагерях представляет самый непосредственный интерес. С него он и начнет.

— Пусть он говорит по-немецки, я переведу, — живо сказал Ламбер.

— Как хотите, — Скрясин сказал несколько слов по-русски, и Георгий покачал головой, но маска на его лице не изменилась. Он казался парализованным болезненной и неизгладимой злобой. Он заговорил; взгляд его остался пристальным, направленным в глубь самого себя, к

видениям из другого мира. Но из его мертвого рта лился страстный, яркий голос, то сухой, то патетический; Ламбер не сводил взгляда с его губ, словно расшифровывая язык глухонемого.

— Он говорит, что мы все должны прежде всего понять, что существование трудовых лагерей — не случайное явление, которое можно искоренить, — сказал Ламбер. — Программа строительства в СССР требует дополнительных средств, которые могут быть получены только избыточным трудом. Если питание свободных рабочих становится ниже определенного уровня, продуктивность труда настолько же снижается. Поэтому там приступили к систематическому созданию люмпен-пролетариата, получающего в обмен на максимальный труд ограниченный жизненный минимум: такое выравнивание возможно только при концентрационной системе.

В кабинете установилось мертвое молчание, никто не двинулся с места. Георгий снова заговорил, и Ламбер трагическим голосом продолжал:

— Исправительная работа существует с начала режима, но с 1934 года НКВД получил право применять как простую административную меру: заключение в трудовой лагерь на период, не превышающий пять лет. Для более длительного наказания необходим предварительный суд. Между 40-м и 45-м годами лагеря частично опустели, многие заключенные попали в армию, другие поумирали с голоду. Но вот уже год, как лагеря заполняются снова.

Теперь Георгий указывал на листах бумаги, разложенных перед ним, названия и цифры, а Ламбер переводил, как мог. Караганда. Царское, Узбек. Это были не названия: это были куски заледенелой степи, болота, прогнившие бараки, где мужчины и женщины работали по четырнадцать часов в сутки за шестьсот граммов хлеба; они умирали от холода, цынги, дизентерии, истощения. Едва они становились слишком слабы для работы, их направляли в больницы, где они систематически и смертельно голодали. «Неужели это

правда?» — подумал Анри с возмущением. Георгий вызвал подозрение, Россия так далека, а сколько о ней рассказывают! Он посмотрел на Дюбрея, замкнутое лицо которого ничего не выражало. Дюбрей выбрал сомнение: сомнение — первая защита, но и на нее нельзя полагаться. Среди всего, что рассказывают, есть и правда. В 38 году Анри сомневался, что война не за горами; в 40 же году он сомневался в существовании газовых камер. Георгий, наверняка, преувеличивает, но ясно, что он не выдумывает. Анри раскрыл на коленях папку; все, что он прочел за несколько часов до этого, неожиданно приобрело ужасный смысл. Там были переведенные на английский официальные тексты, в которых допускалось существование лагерей. И нельзя было преднамеренно полностью отвергнуть все эти свидетельства, из которых одни исходят от американских наблюдателей, а другие от депортированных граждан. Это отрицать невозможно: в СССР смертельно эксплуатировали людей!

Когда Георгий закончил, наступило долгое молчание.

— Вы с естественным для вас мазохизмом навязали интеллигентам идею диктатуры разума, — сказал Скрясин. — Но эти организованные против человека, против всех людей преступления, как вы можете брать их на себя?

— Мне кажется, ответ не оставляет сомнений, — сказал Самазелль.

— Извините, у меня есть сомнение, — сухо заметил Дюбрей. — Я не знаю, ни почему ваш друг сбежал, не знаю также, почему он так долго сотрудничал с этим строем, который он теперь разоблачает перед нами. Я полагаю, у него есть на то причины, но не хочу рисковать тем, что протяну руку антисоветским маневрам. Впрочем, мы не уполномочены ответить вам от имени Революционного Социализма: здесь присутствует лишь половина комитета.

— Если мы согласны, мы наверняка добьемся его решения, — сказал Самазелль.

— Как вы можете сомневаться! — лицо Ламбера пылало

негодованием. Если только четверть того, что он рассказал, правда, следовало бы объявить об этом в тысячу репродукторов. Вы не знаете, что такое лагерь, русский он или нацистский, все равно: мы победили одних не для того, чтобы поощрять других...

Дюбрей пожал плечами:

— Во всяком случае, перед нами не стоит вопрос об изменении строя в СССР, во Франции мы можем действовать только в соответствии с представлением, которое у нас существует об СССР.

— В чем эта история нас касается непосредственно, — сказал Ламбер.

— Согласен, но мы были бы преступниками, если бы ввязались в это разоблачение без достаточной информации, — сказал Дюбрей.

— Иначе говоря, вы сомневаетесь в том, что рассказал Георгий? — уточнил Скрясин.

— Я не принимаю это за Евангелие.

Скрясин постучал по лежащей на столе папке.

— А что вы намерены делать со всем этим?

Дюбрей потряс головой.

— Я считаю, что ни один факт серьезно не установлен.

Скрясин многоречиво заговорил по-русски; Георгий отвечал ему бесстрастным тоном.

— Георгий говорит, что обязуется представить вам решающие доказательства. Пошлите кого-нибудь в Западную Германию: там у него есть друзья, которые убедят вас в существовании лагерей в советской зоне. К тому же в архивах Рейха обнаружены документы, переданные Советским Союзом после германо-советского пакта. Там фигурируют цифры, которые покажутся вам интересными.

— Я поеду в Германию, — сказал Ламбер, — и немедленно.

Скрясин одобрительно на него посмотрел.

— Зайдите ко мне. Это деликатная миссия, которую нужно тщательно продумать. — Скрясин повернулся к Дюбрею.

— Если мы представим требуемые доказательства, вы решитесь выступить?

— Представьте доказательства, и комитет решит, — нетерпеливо ответил Дюбрей. — А пока все это пустая болтовня.

Скрясин встал, Георгий также:

— Я прошу самой абсолютной секретности по поводу того, о чем здесь только что говорилось. Георгий хотел рассказать вам все лично; но вы представляете, что ему угрожает в таком городе, как Париж?

Они все согласно закивали. Георгий поклонился и пошел за Скрясиным, не добавив ни слова.

— Сожалею об отсрочке, — сказал Самазелль. — По поводу самого вопроса нет никакого сомнения. Мы могли бы опубликовать отрывки из кодекса, и это одно могло бы возбудить все общественное мнение.

— Поднять общественное мнение против СССР! — сказал Дюбрей. — Именно этого нам следует избегать, особенно теперь.

— Но правые не выгадают на этой кампании. Революционный Социализм окажется в выигрыше, а ему это как раз и нужно! — сказал Самазелль. — Со времени выборов ситуация изменилась, если мы будем упорствовать и захотим, чтобы в целости остались и капуста, и овечка, Революционный Социализм пропал, — с пылом добавил он. — Успех коммунистов побудит колеблющихся записаться в компартию, другие же бросятся в объятия реакции. С первыми делать нечего, но мы можем заполучить остальных, если открыто будем атаковать сталинизм.

— Странные левые, объединяющие антикоммунистов на основе антикоммунистической программы! — сказал Дюбрей.

— Вы знаете, что произойдет? — раздраженно сказал Самазелль. — Если мы будем так продолжать, через два месяца Революционный Социализм будет всего лишь маленькой группой интеллектуалов на службе у коммунистов, од-

новременен руководимых и презираемых ими.

— Никто нами не руководит! — сказал Дюбрей.

Анри слышал этот шум взволнованных голосов. В данный момент судьба Революционного Социализма его не волновала. Единственный вопрос, который был для него важен, — в какой мере Георгий сказал правду. Если он не лгал по всему фронту, отныне будет невозможно думать об СССР так, как думали прежде; все нужно пересмотреть. Дюбрей не хотел ничего пересматривать, он зарылся в скептицизме; Самазелль ждал случая выступить против коммунистов. У Анри не было никакого желания рвать с коммунистами, но он не хотел себе лгать. Он поднялся:

— Весь вопрос в том, чтобы выяснить, правду ли говорил Георгий. А пока все это — пустые разговоры.

— Я придерживаюсь того же мнения, — сказал Дюбрей.

Ламбер и Самазелль вышли вместе с Анри. Едва они закрыли за собой дверь, как Ламбер пробурчал:

— Правда, что Дюбрей продался! Он хочет задушить это дело. Но у него нет на это права!

— К сожалению, комитет идет всегда за ним, — сказал Самазелль. — На деле Революционный Социализм — это он.

— Но «Эспуар» не обязана идти за Революционным Социализмом! — сказал Ламбер.

Самазелль улыбнулся:

— Ах! Вы здесь поднимаете важные вопросы! — и мечтательно добавил, — но если мы решимся заговорить, нам никто не сможет помешать.

Анри смотрел на него с удивлением:

— Вы предполагаете разрыв «Эспуар» с Революционным Социализмом? Что с вами?

— По тому, как развиваются события, через два месяца не будет никакого Революционного Социализма, — сказал Самазелль. — Я желаю, чтобы газета его пережила.

Он удалился, улыбаясь широкой улыбкой, а Анри облокотился о парапет набережной.

— Интересно, что он подготавливает! — сказал он.

— Если он хочет, чтобы «Эспуар» стала свободной газетой, он прав, — сказал Ламбер. — Там они установили рабство, здесь убивают, да еще хотят, чтобы мы не протестовали.

Анри взглянул на Ламбера:

— В случае, если Самазель предложит разрыв, не забудь, ты мне обещал, что в любом случае поддержишь меня.

— Согласен, — сказал Ламбер. — Только предупреждаю, что если Дюбрей заупрямится и задушит это дело, я уйду из газеты и продам свою часть.

— Нельзя ничего решать, пока факты не установлены, — сказал Анри.

— Кто решит, установлены ли они?

— Комитет.

— Значит, Дюбрей. Если он уже решил, он не даст себя переубедить.

— Это тоже готовое решение, все равно, что убедить себя без доказательств! — с некоторым упреком сказал Анри.

— Не говори, что Георгий все выдумал! Не говори, что все эти документы фальшивы! — пылко воскликнул Ламбер. Он подозрительно взглянул на Анри:

— Ты согласен, что если все это правда, нужно заявить об этом во весь голос?

— Да, — сказал Анри.

— Тогда все в порядке. Я поеду в Германию, и как можно скорее; клянусь, я не потрачу время даром, — он улыбнулся. — Тебя подвезти?

— Нет, спасибо. Я немного пройду, — сказал Анри.

Он шел ужинать к Поль и не спешил с ней встретиться. Он зашагал медленно. По правде говоря, он до сих пор никогда не задавал себе серьезных вопросов, но без колебаний утвердительно ответил Ламберу: это было почти рефлексом. Но фактически он не знал, ни во что он должен верить, ни что он должен делать, — он ничего не знал, он

все еще был оглушен, словно получил сильный удар по голове. Очевидно, Георгий где-то был прав. Может быть, даже все было правдой. Существовали лагеря, где пятнадцать миллионов трудящихся были низведены до положения низших людей; но благодаря этим лагерям нацизм был побежден, и великая страна строилась и превращалась в единственную надежду для миллионов низших людей, подыхающих с голоду в Китае и Индии, единственным шансом миллионов рабочих, живущих в нечеловеческих условиях, нашим единственным шансом. Не подведет ли он? — спросил себя Анри с опасением. Он отдавал себе отчет, что никогда серьезно не ставил это под сомнение; пороки, злоупотребления в СССР были ему известны: это не помешает тому, что когда-нибудь настоящий социализм, в котором соединятся справедливость и свобода, восторжествует в СССР и благодаря СССР. Если сегодня вечером эта уверенность оставила его, будущее окажется в потемках: впрочем, нигде не видно даже миража надежды.

«Из-за этого я впал в сомнение? — спросил он себя. — Отказываюсь ли я от правды из трусости, потому что нечем будет дышать, если на земле больше не будет уголка, на который можно будет взирать с некоторым доверием? Или наоборот, — подумал он, с сочувствием собирая ужасные образы, — я передергиваю из-за того, что могу примкнуть к коммунизму; было бы облегчением решительно его ненавидеть. Если бы только можно было быть полностью за или полностью против! Но для того, чтобы быть против, надо располагать иными шансами, которые можно будет предложить людям: слишком очевидно, что революция осуществится либо в Советском Союзе, либо не осуществится совсем. Но если СССР только заменил одну систему эксплуатации другой, если он восстановил рабство, как сохранить к нему малейшее доверие?.. Может быть, зло всюду? — подумал Анри. Он вспомнил ночь в убежище в Жевенн, где он с наслаждением заснул невинным сном: если бы зло было повсюду, такого бы не существовало. Что бы он ни

сделал, он допустит ошибку: ошибка, если он распространит неполную правду, ошибка, если он скроет даже часть правды. Он спустился к береговому откосу. Если зло повсюду, нет никакого выхода ни для человечества, ни для него. Нужно ли было прийти к этому, размышляя? Он сел и в отупении стал разглядывать текущую перед ним воду.

КНИГА ВТОРАЯ

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Горничная скрылась, и Анри вошел в гостиную; медвежьей шкуры, ковры, низкие диваны, — вокруг была та же заговорщическая тишина, как в то время, когда он впервые встретил молчаливо предложенную ему Жозетту: не пригласила же его Люси ради своих пятидесятилетних прелестей. Что ей от меня нужно? — спрашивал он себя, пытаясь найти ответ.

— Спасибо, что пришли, — сказала Люси. На ней было строгое домашнее платье, волосы были хорошо уложены, но не приведенные в порядок брови старили ее ужасно. Она сделала ему знак присесть.

— Я должна попросить вас об услуге; это не столько для меня, сколько для Жозетты. Ведь вы к ней привязаны?

— Вы знаете, что да, — сказал Анри.

Тон Люси был столь обычен, что он испытал некоторое облегчение: она хочет, чтобы я женился на Жозетте или вошел в ее комбинации. Но отчего она держит в правой руке кружевной платочек и так крепко его сжимает?

— Я не знаю, насколько далеко вы готовы зайти, чтобы помочь ей, — сказала Люси.

— Скажите, в чем дело.

Люси колебалась, мяла платочек в руках.

— Сейчас скажу, у меня нет выбора.

Она изобразила улыбку:

— Вам, вероятно, рассказывали, что во время войны мы не были участниками Сопротивления?

— Мне это говорили.

— Никто никогда не узнает, чем я заплатила за то, чтобы Дом Амариллис стал крупным предприятием, — сказала Люси. — Впрочем, это никого не касается, и я не собираюсь вызывать сочувствие к своей судьбе, только хочу, чтобы вы поняли, что я готова пожертвовать головой ради своего предприятия. Мне удалось его спасти только благодаря немцам: я их использовала, и не стану говорить, будто жалею об этом. Очевидно, без ничего ничего и не получишь. Я принимала их в Лионе, устраивала праздники, делала все необходимое. После Освобождения это принесло мне неприятности, но все это позади и уже забыто.

Люси взглянула на Анри. Он спокойно сказал:

— Ну и что?

Ему казалось, что эта сцена уже происходила. Когда? Может быть, в его воображении? С того момента, как он получил ее телеграмму, он знал, что скажет ему Люси. Он ждал этой минуты весь этот год.

— Вместе со мной моими делами занимался человек по имени Мерсье; он часто приезжал в Лион; он собрал фотографии, письма... Если с ним что-нибудь случится, мы с Жозеттой подвергнемся всеобщему остракизму.

— Значит, история с досье верна? — сказал Анри. Он испытывал только усталость.

— Ах! Вам было о ней известно? — удивленно спросила Люси; ее лицо разгладилось.

— Вы использовали Жозетту? — спросил Анри.

— Использовала! Жозетта здесь ни при чем! — с горечью сказала Люси. — Она скомпрометировала себя совершенно бесполезным образом, влюбившись в капитана, красивого сентиментального парня, не имевшего никакого влияния, который посылал ей пылкие письма, пока не погиб на восточном фронте. Она таскала их повсюду, а также их фотографии. Хорошие документы, уверяю вас. Мерсье

быстро понял, какую он сможет извлечь из этого выгоду.

Анри поднялся и подошел к окну. Люси смотрела на него, но ему было все равно. Он вспомнил невинное лицо Жозетты в их первое утро, и такой правдивый, но лгавший голос: «Я? Влюблена? Но в кого?» Она любила, любила другого: красивого парня, который был немцем. Он обернулся к Люси и с усилием спросил:

— Он шантажирует вас?

Люси усмехнулась:

— Не думаете же вы, что я попрошу у вас денег? Вот уже три года, как я плачу и готова продолжать. Я даже предложила Мерсье крупную сумму, чтобы купить у него эту папку. Но он хитрый, видит далеко, — она посмотрела Анри прямо в глаза и провоцирующе произнесла, — он был доносчиком в гестапо, его недавно арестовали. Он передал мне, что если я его не вытащу, он упечет нас в тюрьму.

Анри молчал: дешевки, спавшие с немцами, до сих пор принадлежали к другому миру, с которым его связывала только ненависть. Но вот Люси говорит, а он ее слушает, теперь это и его мир: из объятий немца Жозетта перешла в его объятия.

— Вы понимаете, что представляет эта история для Жозетты? — спросила Люси. — При ее характере она не вынесет и отравится газом.

— Что я могу сделать? Чего вы ждете от меня? — раздраженно спросил он. — Я не знаю адвоката, который бы вытащил доносчика гестапо из тюрьмы. Единственный совет, который я могу дать, — уезжайте в Швейцарию и как можно скорее.

Люси пожала плечами:

— В Швейцарию! Я говорю вам, что Жозетта отравится. Она была так довольна в последнее время, — сказала Люси с неожиданной нежностью, — все говорят, что на экране она очаровательна. Садитесь, — добавила она с нетерпением, — и слушайте меня.

— Я слушаю, — сказал Анри, присаживаясь.

— У меня есть адвокат. Мэтр Трюффо, вы его знаете? Это надежный друг, который мне кое-чем обязан, — сказала Люси с улыбкой. — Мы изучили сложившуюся ситуацию, и он сказал, что единственное решение — объявить Мерсье двойным агентом, но, разумеется, это может сделать только участник Сопротивления.

— А! Понимаю! — сказал Анри.

— Понять нетрудно, — холодно заметила Люси.

Анри засмеялся:

— Вы думаете, что это так просто? Трудность заключается в том, что всем товарищам известно, что Мерсье никогда со мной не работал.

Люси закусила губу, и он испугался, что она расплечется, — это было бы душераздирающим зрелищем. Он смотрел на ее побелевшее лицо со злым удовольствием, и в его голове вихрем пронеслась мысль: влюблена в немецкого капитана, она опутала меня, дурака! Он был уверен в ее радости, в ее нежности. Дурак! Она избрала его инструментом для достижения своих целей. Люси — умная женщина, она смотрела далеко вперед; если она завладела интересами Анри, бросив в его объятия Жозетту, то не только ради того, чтобы обеспечить карьеру дочери, которая ее мало интересовала; это было сделано для того, чтобы обеспечить себе алиби. Жозетта сыграла свою роль. Она рассказывала Анри, что никого не любила, чтобы объяснить свою сдержанность, но всю любовь своего сердца она отдала этому немецкому капитану. У Анри возникло желание оскорбить ее, избить, а от него ждут, что он ее спасет!

— Разве ваша подпольная работа не была окружена тайной? — спросила Люси.

— Она была тайной, но мы друг друга знали.

— И судья не поверит вам на слово? Если сделает очную ставку вам и вашим товарищам, они вас опровергнут?

— Не знаю и не хочу подвергаться риску, — с раздражением ответил Анри. — Вы, наверное, знаете, насколько

серьезно лжесвидетельство. Вы дорожите своей мастерской, я тоже кое-чем дорожу.

Люси вновь обрела спокойствие и сказала безразличным тоном:

— Главная вина Мерсье заключается в том, что 23 февраля 44 года на мосту Альма он выдал двух девушек. Она подняла на Анри вопросительный взгляд. — В подполье их звали Лиза и Ивонна, они провели год в Дахау, это вам ничего не говорит?

— Нет.

— Жаль. Если бы вы их знали, это могло бы нам помочь. Во всяком случае, они наверняка знают. Если вы скажете, что в этот день Мерсье находился в другом месте, например, с вами, разве они не замолчат? А если вы скажете, что использовали Мерсье как доносчика, разве кто-нибудь осмелится вам перечить?

Анри задумался. Да, у него большой кредит, блеф мог пройти. Если у Ламбера, Сезенака или Дюбрея возникнут сомнения, они оставят их при себе. Но он не станет лжесвидетельствовать ради маленькой шлюхи, шкура которой ему понравилась. Эта святая невинность хорошо скрывала свою тайну.

— Уезжайте в Швейцарию! — сказал он. — Там вы найдете много хороших людей. В Швейцарию, Бразилию или Аргентину. Глупо думать, что жить можно лишь в Париже.

— Вы ведь знаете Жозетту! Она сейчас снова почувствовала вкус к жизни. Она не выдержит.

Анри подумал: «Мне надо ее срочно увидеть!»

Он поднялся:

— Я подумаю.

— Вот адрес мэтра Трюффо, — сказала Люси, доставая из кармана бумажку. — Если вы решитесь, свяжитесь со мной.

— Если предположить, что я пойду вам навстречу, как можно быть уверенным, что этот субъект не продолжит шантаж?

— Что он может поделывать? Да он и не захочет связываться с вами. В тот день, когда папка появится на свет, ваше свидетельство в его пользу покажется подозрительным. Нет. Если вы его вытащите из тюрьмы, у него будут связаны руки.

— Я позвоню сегодня вечером.

Люси поднялась и, словно колеблясь, остановилась перед ним; он снова испугался, что она расплчется или бросится ему в ноги. Она ограничилась глубоким вздохом и проводила его до двери.

Он быстро спустился по лестнице, сел в машину и устремился на улицу Габриэль. В его кармане лежал ключ от квартиры Жозетты, который она дала ему год назад после ночи любви. Он открыл дверь и, не постучав, вошел в спальню.

— В чем дело? — спросила Жозетта. Она открыла глаза и слабо улыбнулась. — Это ты? Который час? Приятно, что ты пришел меня поцеловать.

Он не поцеловал ее. Закрыл шторы и сел на пуфик. Среди этих безделушек, сатина, подушек трудно было думать о скандалах, тюрьме, об отчаянии. Ему улыбалось розовое лицо, обрамленное темными волосами.

— Мне нужно с тобой поговорить, — сказал он.

Жозетта распрямилась на подушках:

— О чем?

— Почему ты не сказала мне правду? Твоя мать только что все рассказала. На этот раз я хочу знать правду, — резко сказал он. — Она бросила тебя в мои объятия, так как надеялась, что я смогу быть вам полезен?

— Что с тобой? — испуганно глядя на него, спросила Жозетта.

— Отвечай! Ты согласилась спать со мной по совету матери?

— Мама давно велела мне окрутить тебя, — сказала Жозетта, — она хотела, чтобы я сошлась со стариком. Что — с тобой? — с мольбой спросила она.

— Ты слышала о досье? Субъект, у которого оно находится, арестован и угрожает вас выдать.

Жозетта зарылась лицом в подушку:

— Это никогда не кончится! — с отчаянием произнесла она.

— Вспомни, в первое утро, здесь, ты сказала, что никогда никого не любила. Позднее ты мельком упомянула о молодом человеке, умершем в Америке: этот человек — немецкий капитан. Ах, как же ты надо мной посмеялась!

— Почему ты так со мной говоришь? — спросила Жозетта. — Что я тебе сделала? Когда я была в Лионе, я тебя не знала.

— Но когда я спрашивал тебя, ты меня знала и лгала мне с невинным видом,

— К чему было говорить правду? Мама запретила мне это. И потом, ты был чужим.

— И весь этот год я оставался тебе чужим?

— Зачем говорить об этом? — она заплакала, закрыв лицо руками. — Мама сказала, что если меня разоблачат, я окажусь в тюрьме, а я не хочу! Лучше умереть!

— Сколько длилась история с капитаном?

— Год.

— Это он обставил тебе квартиру?

— Да. Все, что у меня есть, дал мне он.

— Ты любила его?

— Он любил меня, он любил меня так, как ни один мужчина меня любить не будет; да, я любила его, — сказала она, рыдая, — но это не причина, чтобы посадить меня в тюрьму,

Анри встал, сделал несколько шагов среди мебели, выбранной красавцем-капитаном. В глубине души он был уверен, что Жозетта была способна отдаваться немцам. «Я ничего не понимала в этой войне», — призналась она. Он предполагал, что она им улыбалась, даже флиртовала с ними, и простил ее. Искренняя любовь должна была казаться ему еще более извинительной. Но факт заключался

в том, что ему было невыносимо вообразить на этом кресле немецкую униформу и мужчину, спавшего с ней кожа к коже и рот ко рту.

— И ты знаешь, на что надеется твоя мама? Что я принесу лжесвидетельство, чтобы вас вытащить из этой истории. Лжесвидетельство: полагаю тебе это ничего не говорит.

— Не пойду в тюрьму, я убью себя! — повторяла Жозетта сквозь слезы. — Впрочем, мне все равно, мне все равно, потому что я умру.

— Речь идет не о том, что ты пойдешь в тюрьму, — мягко сказал Анри.

Бесполезно играть в судью, он просто ревнует. Если быть справедливым, он не мог злиться на Жозетту за то, что она полюбила первого мужчину, который полюбил ее. И по какому праву он мог упрекать ее?

— Самое худшее, что тебе грозит, это уехать из Франции, — продолжал он. — Но жить можно везде.

Жозетта продолжала рыдать; то, что он сказал, вероятно, не имело никакого значения. Стыд, бегство, ссылка: Жозетта этого не выдержит. Она уже не дорожит жизнью. Он огляделся, и тревога подкатила к его горлу. В этих комедийных декорациях жизнь казалась фривольной; но если однажды Жозетта откроет газ, она погибнет среди этих стен под розовыми простынями, ее похоронят в муслиновой рубашке. Слезы Жозетты были искренними, под душистой кожей была настоящая плоть. Он сел на край кровати.

— Не плачь, — сказал он. — Я тебя спасу.

Она откинула пряди волос, прилипших к заплаканному лицу:

— Ты? Но ты был такой сердитый!..

— Нет, я не сержусь, — сказал он. — Обещаю тебе, что спасу тебя, — с силой повторил он.

— О, да! Спаси меня! Прошу тебя! — сказала Жозетта, бросаясь в его объятия.

— Не бойся. С тобой не случится ничего плохого, — ласково сказал он.

— Как ты мил! — сказала Жозетта. Она прижалась к нему и потянулась к нему губами; он отвернулся.

— Я тебе противна? — прошептала она таким униженным тоном, что Анри неожиданно стало стыдно, стыдно того, что он по другую сторону. Мужчина перед женщиной, у него есть деньги, имя, культура, и главное — мораль! Немного потрепанная временем, она все еще могла создавать иллюзии; при случае он и сам мог им поддаться. Он поцеловал соленый от слез рот.

— Я сам себе противен.

— Ты?

Она подняла к нему ничего не понимавшие глаза, и он в порыве жалости снова поцеловал ее. Какое ей было дано оружие? Какие принципы? Какие надежды? Пощечины матери, приставания самцов, унижающая красота, а теперь еще и угрызения совести.

— Мне надо было быть великодушным и не пугать тебя, — сказал он.

Она тревожно разглядывала его:

— Ты, правда, не сердишься?

— Не сержусь и вытащу тебя из этой истории.

— Как ты это сделаешь?

— Сделаю то, что нужно.

Она вздохнула и положила голову на его плечо; он ласкал ее волосы. Лжесвидетельство: ужас объял его при этой мысли. Но, принося его, он не причинит никому вреда; он спасет голову Мерсье, жаль, но сколько других заслуживают того, чтобы подохнуть, а живут! Если он откажется, Жозетта может покончить с собой, во всяком случае, ее жизнь будет исковеркана. Нечего колебаться; с одной стороны — Жозетта, с другой — угрызения совести. Он наматал прядь ее волос на палец. В любом случае, добрые намерения ни к чему не приводят; лучше откровенно совершить ошибку. Сейчас ему представляется прекрасный случай, уж он его не упустит. Он высвободил руку и провел ею

по лицу. Нечего играть в демонов. Он принесет лжесвидетельство потому, что не может поступить иначе, вот и все. «Как я до этого дошел?» Это казалось ему одновременно логичным и совершенно невозможным; он никогда не чувствовал себя таким несчастным.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

...Пчела с жужжанием кружила вокруг пепельницы. Анри поднял голову и с удовольствием вдохнул сладковатый запах флоксов. Рука снова скользнула по бумаге, он закончил переписывать замаранную страницу. Он любил эти утренние часы в тени лип, возможно, потому, что здесь хотелось писать, книга снова казалась ему чем-то важным. Он был доволен, что Дюбрею понравился его роман. Конечно, эта повесть ему тоже понравится. У Анри было впечатление, что на сей раз он выполнил то, что себе обещал: приятно быть довольным собой.

В одном из окон появилась голова Надин:

— Как ты прилежен! Как школьник, выполняющий задание, полученное на каникулы.

Анри усмехнулся; он действительно чувствовал в себе спокойное и счастливое сознание школьника.

— Мария проснулась? — спросил он.

— Да. Мы сейчас спустимся, — сказала Надин.

Он собрал бумаги. Полдень. Время отправляться, если он хочет избежать встречи с Шарлие и Мерико. Они, наверняка, пристанут к Дюбрею по поводу еженедельника, и Анри надоело повторять: «Не хочу в это вмешиваться».

— Вот и мы! — сказала Надин.

В одной руке она держала продуктовую сумку, а в другой — предмет, которым гордилась: нечто среднее между чемоданом и люлькой.

Анри улыбнулся Марии; его все еще удивляло, что он вынес из небытия девочку с голубыми глазами и черными во-

лосами, которая была его ребенком. Она доверчиво рассматривала пустоту, в то время как он устраивал ее в глубине машины.

— Быстро! — скомандовал он.

Надин села за руль, она обожала водить машину.

Накупив кучу газет, они покатали к лесу. Надин не разговаривала за рулем, она была слишком прилежна. Анри дружелюбно разглядывал ее упрямый профиль. Он находил ее волнующей, когда она проявляла страстную серьезность. Именно это тронуло его, когда он снова стал с ней встречаться.

— Ты знаешь, я переменялась, — сказала она ему в первый день. Она не столько уж переменялась, но он готов был ей помочь. Он сказал себе, что сделает ее счастливой, освободит ее от смутного чувства, которое отравляло ей жизнь. Она так хотела, чтобы он на ней женился, что он решил сделать это, для этого он был достаточно к ней привязан. Забавная девушка! Она всегда вырывала в борьбе то, что противная сторона и так готова была сделать. Анри был уверен, что она забеременела, нарочно спутав некоторые даты, чтобы схватить его за руку; а после была убеждена, что, поставив его перед фактом, только помогла ему понять собственные желания. Он задумчиво смотрел на нее. Она обладала сокровищами недоверия и пронизательности. В глубине души она, наверняка, сомневалась в том, как он повел бы себя без ее уловок; но именно из-за этого ему трудно давалось стремление сделать ее счастливой. Она говорила себе, что он ее любит не той любовью, и злилась на него. «Может, стоит объяснить ей, что я всегда вел себя свободно и никогда не поддавался на обман», — сказал себе Анри. Но Надин будет очень унижена, если почувствует, что разоблачена. Она, вероятно, убеждена, что Анри ее презирает, что он женился из жалости. Ничто не могло ее уязвить больше; она боялась, что ее будут осуждать или обильно одаривать подарками. Ни к чему не приведет, если он скажет ей правду.

Надин остановила машину на берегу пруда.

— Красивый уголок! Всю неделю здесь никого нет.

Они разделись. Под полотняным платьем на Надин был красивый зеленый купальник. Ноги ее были тяжелее, чем прежде, а грудь — по-прежнему молодой. Он весело сказал:

— Ты красива!

— О! Ты тоже хоть куда, — смеясь ответила она.

Они побежали к пруду. Она плавала, лежа на животе, и прямо над водой величественно держала голову. Он любил ее лицо. «Я к ней привязан, — сказал он себе, — и даже очень: почему это все же не любовь?». Что-то в характере Надин охлаждало его. Ее опасения, споры, недоверие, враждебное одиночество, в котором она пребывала. Но может быть, если бы он ее больше любил, она бы стала более открытой, более расцветшей, более любезной. В этом был какой-то порочный круг. Любовь нельзя получить по заказу, как и доверие. Ни один из них не мог начать первым.

Они долго плавали, потом растянулись на берегу. Надин достала из сумки пакет с сэндвичами. Анри взял один из них.

— Знаешь, — сказал он через некоторое время, — я снова подумал о том, что ты рассказала о Сезенаке. Никак не могу в это поверить. Венсан уверен, что речь идет именно о Сезенаке?

— Абсолютно уверен, — сказала Надин. — Это заняло у него год, но он все же разыскал людей и расспросил их. Сезенак перешел все границы и выдавал немцам евреев. Это он.

— Но почему? — спросил Анри.

Он слышал патетический голос Шансея: «Позволь представить тебе моего лучшего друга». Он видел красивое, чистое, тяжеловесное лицо, которое излучало доверие.

— Ради денег, я думаю, — сказала Надин. — Никто этого не подозревал, но он, наверное, уже тогда кололся.

— А почему он кололся?

— Этого я не знаю, — сказала Надин.

— Где он теперь?

— Венсану очень хотелось бы это знать! Он упустил его в прошлом году, когда узнал, что это за птица, и с тех пор потерял его след. Но он его найдет! — добавила она.

Анри откусил сэндвич. Он совсем не жаждал, чтобы отыскивали Сезенака.

— О ком ты думаешь? — спросила Надин.

— О Сезенаке.

Он не рассказал Надин о шантаже Мерсье. Разумеется, она никогда не выдала бы тайны, но она никогда не вызывала его на откровенность, так как не скрывала любопытства и была не слишком доброжелательной. А для того, чтобы разобраться в этой истории, нужно было много симпатии: несмотря на нетерпимость Дюбрея и Анны, он сделал то, что хотел. Жозетта не покончила с собой, стала звездой, о которой много говорят. Каждую неделю ее фотографии появлялись в газетах.

— Сезенака найдут, — повторила Надин.

Она развернула газету, Анри взял другую. Пока он во Франции, он вынужден постоянно видеть фотографии Жозетты, хотя с удовольствием обошелся бы без этого.

Наложённая на Европу лапа Америки, массовый приход к власти коллаборационистов, неловкость коммунистов: все это скорее подавляло. В Берлине ничего не налаживалось, война могла начаться в любую минуту. Анри лег на спину и закрыл глаза. В Порто Венере, куда они собирались с Надин, он не раскроет газеты. Зачем? Раз ничему нельзя помешать, лучше беззаботно пользоваться тем, что осталось.

«Это шокирует Дюбрея: но он считает разумным жить так, словно не собирается умирать, — подумал Анри. — К чему готовиться к смерти? К ней невозможно быть готовым и в то же время каждый к ней готов».

— Невероятно, с каким шумным успехом пресса встретила книгу Воланжа! — сказала Надин.

— Это понятно. В настоящий момент вся пресса с правыми, — сказал Анри.

Книга Воланжа была жалкой, но он бросил лозунг: «Интегрировать зло!». Быть некогда коллаборационистом означает обильно облагородить источники ошибки; линчевание в Миссури было грехом, а следовательно, искуплением. Пусть будет благословенна Америка за все преступления, и да здравствует план Маршалла! Наша цивилизация виновата: это ее самое славное достижение. Какая нелепость хотеть построить новый, более справедливый мир!

— Скажи, дорогой, что они с тобой сделают, когда появится твой новый роман? — спросила Надин.

— Я об этом не думаю, — он зевнул. — Ах, это уже не интересно! Я заранее представляю себе статьи Воланжа и Ленуара. Даже в других статьях, которые претендуют на беспристрастность, я знаю, о чем пойдет речь.

— О чем же? — спросила Надин.

— Они меня упрекнут в том, что я не написал «Войну и мир» или «Принцессу Клевскую». Заметь, что библиотеки полны книгами, которые не я написал, — весело добавил он. — Но мне всегда бросают в упрек именно эти две.

— Мован когда рассчитывает тебя вытащить?

— Через два месяца, в конце сентября.

— Это незадолго до нашего отъезда, — сказала Надин.

— Мне бы так хотелось быть уже там.

— Мне тоже, — сказал Анри.

Было нелюбезно оставлять Дюбрея одного, он понимал, что Надин хочет дождаться возвращения матери из Америки, чтобы уехать спокойно. Впрочем, Анри нравилось здесь, в Сен-Мартене, хотя он и предпочитал поскорее оказаться в Италии. Дом на берегу моря, среди сосен и скал, был как раз таким местом, о котором он мечтал: бросить все, уехать на юг, писать.

— Возьмем с собой хороший проигрыватель и много пластинок, — сказала Надин.

— И много книг, — сказал Анри. — Увидишь, мы устроим себе неплохую жизнь.

Надин приподнялась на локте:

— Смешно. Мы будем жить в доме Пимьента, а он вернется в Париж. Лангстон больше не хочет в Америку.

— Мы трое в одинаковом положении, — сказал Анри. — Писатели, которые занимались политикой и которым она осточертела. Уехать за границу — лучший способ сжечь за собой мосты.

— Это моя идея купить этот дом, — с довольным видом сказала Надин.

— Твоя, — сказал Анри и улыбнулся. — Тебе случается рожать удачные идеи.

Лицо Надин потемнело; какое-то время она с тревогой рассматривала горизонт, потом рывком устремилась к Марии.

Анри проводил ее взглядом. О чем она на самом деле думает? Верно то, что ей мало удавалась роль матери семейства. Надин села на пенек с дочерью на руках и величественно и терпеливо совала ей соску, считая делом чести быть компетентной матерью. Она усвоила принципы гигиены раннего возраста и обзавелась кучей детских предметов; но Анри ни разу не уловил в ее глазах настоящей нежности. Даже с ребенком она сохраняла дистанцию, оставаясь замурованной в самой себе.

Они еще немного поплавали, обсохли, оделись, и Надин снова села за руль.

— Я надеюсь, они уже уехали, — сказал Анри, когда машина остановилась перед домом.

— Пойду посмотрю, — сказала Надин.

Она приложила ухо к двери кабинета, затем толкнула створку:

— Ты один?

— Да. Заходите! — крикнул Дюбрей.

— Я подымусь вверх уложить малышку, — сказала Надин.

Анри с улыбкой вошел в кабинет.

— Жаль, что вы не поехали с нами: в воде так хорошо!

— Поеду туда на днях, — ответил Дюбрей. Он взял со стола листок бумаги. — У меня для вас поручение: некий Жан Патюро, брат знакомого вам адвоката, просит, чтобы вы ему срочно позвонили. Его брат передал ему с Мадагаскара сведения, которые он хочет сообщить вам.

— Зачем он хочет меня видеть? — спросил Анри.

— Полагаю, что это связано с вашими статьями в прошлом году, — сказал Дюбрей. Он протянул листок Анри. — Если этот тип сообщит вам детали того, что там делается, у вас еще будет время написать статью в «Вижиланс», немного задержав номер. Мерико мне сказал: то, что они там творят, не имеет прецедентов, они расправляются с обвиняемыми на месте, — сказал Дюбрей.

Анри сел:

— Обед прошел хорошо? Опять говорили о газете?

— Для этого они и пришли. Кажется, Манхейм хочет встретиться со мной.

— Забавно, — сказал Анри. — Когда мы нуждались в деньгах, мы никогда не могли их достать. Теперь, когда мы ничего не просим, находится субъект, который преследует нас, чтобы мы взяли у него деньги.

Манхейм был сыном известного банкира, умершего во время депортации. Он тоже был вынужден уехать и провел три года в Швейцарии; там он написал плохую, но полную добрых намерений книгу. Он вбил себе в голову, что создаст крупную левую газету, и ему хотелось, чтобы ею руководил Дюбрей.

— Я с ним встречусь, — сказал Дюбрей.

— И что вы ему скажете? — спросил Анри. Он улыбнулся. — Вас это начинает интересовать?

— Признайтесь, что это заманчиво, — сказал Дюбрей. — Помимо коммунистических уток, левых еженедельников нет. Если действительно можно выпускать газету с большим тиражом, фотографиями, репортажами и так далее. игра стоит свеч.

Анри пожал плечами.

— Вы представляете, сколько это потребует труда? Ничего похожего на «Вижиланс». Ею придется заниматься денно и ночью, особенно первый год.

— Знаю, — сказал Дюбрей. — И могу согласиться только в том случае, если мы будем работать вместе.

— Вы знаете, что я уезжаю в Италию, — нетерпеливо сказал Анри. — Но если эта история вас действительно интересует, вам не трудно будет найти сотрудников.

Дюбрей потряс головой:

— У меня нет никакого журналистского опыта, — сказал он. — Если удастся создать эту газету, мне нужно, чтобы рядом со мной был специалист. А для этого у меня нет никого, кроме вас.

— Даже если бы я не уезжал, я бы никогда не взвалил на себя такую работу, — сказал Анри.

— Жаль, — с упреком сказал Дюбрей. Есть все же кое-что, зависящее от нас. Америка хочет вооружить Европу: вот пункт, на котором можно организовать сопротивление. А для этого газета исключительно полезна.

Анри расхохотался:

— В общем, вы снова ищите случай вернуться к политике? Какое душевное здоровье!

— У кого здоровье? — спросила Надин, входя в кабинет.

— У твоего отца: ему все еще не надоела политика. Он снова хочет ею заняться.

— Надо же что-то делать, — сказала Надин.

Она встала на колени перед дискотеккой и начала рассматривать пластинки. «Да, — подумал Анри, — Дюбрею скучно, вот откуда желание действовать».

— Я никогда не был так счастлив, как бросив политику, — сказал Анри. — И ни за что на свете с нею не свяжусь.

— Однако этот маразм гнусен, — сказал Дюбрей. — Левое движение полностью раздроблено, коммунистическая партия в изоляции; надо бы попробовать сгруппироваться.

— Вы думаете о новой партии типа Революционного Социализма и Освобождения?

— Нет, конечно! — сказал Дюбрей, пожимая плечами. — У меня в мыслях нет ничего определенного. Я только констатирую, что мы валяемся на грязных простынях, и я хочу их сменить.

Наступило молчание. Анри вспомнил очень похожую сцену. Дюбрей его торопил, он защищался и думал, что скоро будет далеко от Парижа, но в то время он еще считал себя обязанным. Сегодня он убежден в невозможности чувствовать себя совершенно свободным. Скажу я «да» или «нет», речь идет не о судьбах человечества, а только лишь о том, как я связываю свою судьбу с его судьбой.

— Можно я поставлю пластинку? — спросила Надин.

— Разумеется, — ответил Дюбрей.

Анри встал:

— Пойду работать.

— Не забудьте позвонить этому типу, — сказал Дюбрей.

— Не забуду, — сказал Анри.

Он прошел через холл и снял телефонную трубку. Человек на другом конце провода, казалось, раздувался от важности, чувствовалось, что он получил важное поручение, которое ему было необходимо передать своему собеседнику срочно и любой ценой.

— Мой брат мне написал: никто ничего не делает, но я уверен, что Анри Перрон что-то сделает, — напыщенно сказал он, а Анри подумал: «Только статью». Он назначил свидание на послезавтра в Париже и снова устроился под липами. Он разложил перед собой бумаги.

Надин поставила квартет Франка. Она слушала, сидя у открытого окна; пчелы жужжали вокруг клумбы флоксов; по дороге проехала машина. «Как прекрасен мир!» — сказал себе Анри. Почему его заставляют заниматься тем, что творится в Тананариве? Все время на земле происходят ужасные вещи, но человек живет не этим; размышлять о долготе времени, о далеких несчастьях, от которых не найти лекарства, — печальное наслаждение. «Я здесь живу, и здесь мир», — подумал он. Он посмотрел на Надин; у нее

был непривычно сосредоточенный вид; ей трудно было сконцентрироваться над книгой, но она могла подолгу слушать любимую музыку, и в такие моменты чувствовалось, что она погружалась в тишину, похожую на счастье. «Я должен сделать ее счастливой, — сказал Анри. — Этот порочный круг должен быть разорван». Сделать кого-то счастливым, — это конкретно, это прочно и это достаточно серьезное занятие, если за это как следует взяться. Заняться Надин, вырастить дочь, написать книги: это была не совсем та жизнь, которую он прежде желал. Прежде он считал, что счастье, — это способ владения миром, тогда как это скорее способ защититься от него.

* * *

Весь следующий день Анри вспоминал свой разговор с Дюбреем, который затянулся далеко за полночь. Дюбрей утверждал, что главное — сделать выбор. Это не покорность судьбе, когда из двух реальных вещей принимаешь менее ценную. В некотором плане Анри был с ним согласен. Он упрекал Поль в том, что она предпочитала пустоту полноте, цепляясь за устаревшие мифы вместо того, чтобы принимать его таким, как он есть. И наоборот, он никогда не искал в Надин «идеальную женщину»; он решил жить с ней, хорошо зная ее недостатки. Мнение Дюбрея справедливо для книг и произведений искусства. Человеку не дано написать те книги, которые он надеется написать, и ему остается рассматривать всякий шедевр как неожиданность. Однако мы не грезим о сверхземном искусстве: любимые произведения мы любим абсолютной любовью. В политическом плане Анри чувствовал себя менее убежденным, потому что здесь возникает не наименьшее добро, а зло — оно всегда абсолют несчастья, смерти.

Наступал вечер. Анри размышлял в тени тополя; на крыльце появилась Анна:

— Анри! — она позвала его спокойно, но настойчиво, и он с тревогой подумал: «Еще одна драма с Надин». Он направился к дому.

— В чем дело?

Дюбрей сидел у камина; Надин стояла напротив, сунув руки в карманы брюк.

— Только что пришел Сезенак, — сказала Анна.

— Сезенак?

— Он говорит, что его хотят убить. Пять дней он скрывался, но больше не может; пять дней без наркотиков, он на пределе, — Анна указала на дверь в столовую. — Он лежит на диване, измученный, как собака. Я хочу сделать ему укол.

В руках у нее был шприц, на столе стояла коробка с медикаментами.

— Ты сделаешь ему укол не раньше, чем он все расскажет, — сказала Надин. — Он надеялся, что мама все сделает, не задав ему ни одного вопроса, — добавила она. — Только ему не повезло, я дома.

— Он что-то говорил? — спросил Анри.

— Он будет говорить, — сказала Надин. Она раскрыла дверь и почти любезно позвала:

— Сезенак!

Анри остановился на пороге рядом с Анной. Надин приблизилась к дивану. Сезенак не шевельнулся, он лежал на спине и стонал, руки его дрожали:

— Быстрее! — сказал он.

— Не беспокойся, — сказала Надин. — Мама сделает тебе укол морфия.

Сезенак повернул голову, его лицо было запито потом.

— Только сначала ты мне ответишь, в каком году ты начал работать на гестапо.

— Я умру, — сказал Сезенак. Слезы заструились по его лицу. Это было трудновыносимое зрелище, и Анри хотелось, чтобы Анна положила ему конец; но она казалась парализованной. Надин подошла к дивану:

— Скажи, и тебе тотчас сделают укол, — сказала она, наклонившись на Сезенаком. — Отвечай, или будет хуже. В каком году?

— Никогда, — выдавил он из себя. Он брыкнул ногой и инертно откинул голову; в углу его рта появилась пена.

Анри сделал шаг в сторону Надин.

— Оставь его!

— Нет! Я хочу, чтобы он все рассказал. Или расскажет, или подойдет, — решительно сказала она. — Слышишь, — повторила она, обращаясь к Сезенаку. — Если ты не ответишь, подохнешь!

Анна и Дюбрей застыли на месте. Сейчас был самый удобный момент задавать вопросы, если они хотели узнать правду о Сезенаке.

Надин схватила его за волосы:

— Мы знаем, что ты выдавал евреев. Когда ты начал их выдавать? — она потрясла его голову, и он взвыл:

— Мне больно!

— Отвечай, сколько евреев ты выдал? — спрашивала Надин.

Он выкрикнул:

— Я им помогал!

Надин отпустила его;

— Ты не помогал, ты их выдавал.

Сезенак зарыдал.

— Признайся, ты их выдавал!

— Время от времени я называл одного, чтобы спасти других, так было нужно, — сказал Сезенак. Он оглядывался с затравленным видом. — Вы несправедливы! Я их спасал! Я спас многих евреев!

— Врешь! — сказала Надин. — Ты спасал одного из двадцати, чтобы тебе доставляли клиентов, и ты продолжал выдавать! Скольких ты выдал?

— Не знаю, — сказал Сезенак и вдруг закричал, — не дайте мне подохнуть!

— О! Хватит! — сказала Анна, шагнув к дивану; она склонилась над Сезенаком и закатала рукав его рубахи.

Надин подошла к Анри:

— Убедился?

— Да, — сказал он. — Однако я все еще не могу поверить. Он часто видел Сезенака с влажными руками и мутным взглядом. Он видел его лежащим на диване. Но все это не затмевало образа юного героя с красным галстуком, который прогуливался по баррикадам с винтовкой на плече. Они вернулись в кабинет, и Анри спросил:

— Что мы теперь будем делать?

— Дело не в этом, — живо ответила Надин. — Он заслужил пулю в лоб.

— И ты выстрелишь? — спросил Дюбрей.

— Нет, но я позвоню в полицию, — сказала Надин, протянув руку к телефону.

— Полиция! Ты не понимаешь, что говоришь! — сказал Дюбрей.

— Этот субъект выдал гестапо десятки евреев, а я должна с ним церемониться!

— Оставь телефон и сядь, — сказал Дюбрей терпеливо. — О том, чтобы звать полицейских, не может быть и речи. Необходимо принять следующее решение: мы не можем его лечить, дать ему кров и позволить заниматься прежними делами.

— Что было бы логично! — сказала Надин. Она прислонилась к стене и мрачно смотрела на окружающих. Наступило молчание. Четыре года назад все было бы проще: когда действие — живая реальность, когда веришь в конечную цель, слово «справедливость» имеет смысл; предатель заслуживает смерти. Что делать с бывшим предателем, когда больше ни на что не надеешься?

— Пусть он побудет здесь два-три дня, пока встанет на ноги, — предложила Анна. — Он действительно очень болен. А потом отправим его в какую-нибудь колонию, у нас есть там знакомства, и он никогда сюда не вернется; он слишком боится, что его убьют.

— Что с ним станет? Не снабдим же мы его рекомендательными письмами! — сказал Дюбрей.

— А почему бы и нет? Выделите ему ренту! — голос На-

дин дрожал от негодования.

— Знаешь, он никогда не перестанет колотиться, — сказала Анна. — Во всяком случае, жизнь, которая ему предстоит, ужасна.

Надин топнула ногой.

— Он так просто не выкрутится!

— Но на свете столько людей, которые выкрутились! — сказал Анри.

— Это не причина. — Она подозрительно взглянула на Анри. — Может, ты его боишься?

— Я?

— Казалось, он что-то о тебе знает.

— Он предполагает, что Анри входит в группу гангстеров, возглавляемую Венсаном, — сказал Дюбрей.

— Нет, не то, — сказала Надин. — Ты же слышал, он сказал: «Если я заговорю, твоему мужу будут грозить такие же неприятности, как и мне».

Анри улыбнулся:

— Уж не думаешь ли ты, что я был двойным агентом?

— Не знаю, что мне думать, — сказала она. — Мне никогда ничего не рассказывают. И мне на это наплевать, — добавила она. — Можете хранить свои секреты. Но я хочу, чтобы Сезенак заплатил. Вы понимаете, что он делал?

— Понимаем, — сказала Анна. — Но что тебе даст, если он заплатит? Мертвых не воскресишь!

— Ты рассуждаешь, как Ламбер. Мертвых не воскресишь, но их нельзя и забывать! Мы живы, мы можем думать о них, а не целовать ноги тем, кто виновен в их смерти.

— Но мы их не забыли, — резко сказала Анна. — Это не наша вина, мы просто не властны над прошлым.

— Я ничего не забыла, — сказала Надин.

— Ты такая же, как все: у тебя своя жизнь, дочка, ты забыла. И ты стремишься наказать Сезенака лишь для того, чтобы доказать себе обратное. Это от отсутствия доброты.

— Отказываться входить в ваши комбинации — отсутствие доброты! — зло выкрикнула Надин и открыла застек-

ленную дверь. — Так вот, я называю ваши сомнения трусостью, — сказала она и захлопнула ее за собой.

— Я ее понимаю, — сказала Анна. — Когда я думаю о Диего, я ее понимаю, Она встала. — Пока Сезенак спит, я приготовлю ему постель в павильоне; надо его перенести... Она выскользнула из комнаты, и Анри почудилось, что она вот-вот расплчется.

— Прежде я и сам был бы готов его убить, — сказал Анри. — Сегодня же это бессмысленно. Однако то, что мы помогаем этому мерзавцу выжить, выглядит скандально.

— Конечно, но такое решение обязательно порочно, — сказал Дюбрей. Он посмотрел на Сезенака. — Проблемы легко разрешимы, когда они не возникают. Если бы мы были с ними связаны, не было бы проблем. Только теперь мы по другую сторону, поэтому наше решение будет случайным, — он встал. — Уложим его в постель.

Сезенак спал, глаза его были закрыты, лицо было спокойно, оно снова обрело прежнюю красоту. Он был не тяжел. Они перенесли его в павильон и положили одетым на кровать. Анна накрыла его ноги одеялом.

— Спящий всегда так беззащитен, — прошептала она.

— Он, наверное, не столь уж беззащитен, — сказал Анри. — Ему немало известно о Венсане и его товарищах! Сейчас многие охотно бы обелили бывшего гестаповца, чтобы замарать бывших партизан.

— Вам не кажется, что если бы он знал что-то о Венсане, у него уже были бы неприятности? — сказала Анна.

— Послушай, — сказал Дюбрей, рассматривая его. — Наркоманы болтливы. Может быть, мы узнаем, что у него на уме. — Он подумал. — Думаю, что лучше всего отправить его отсюда подальше.

— И зачем он только сюда пришел? — сказала Анна.

Она казалась взволнованной, и Анри подумал, что надо их оставить вдвоем с Дюбреем. Он поднялся в свою спальню, пробурчав, что у него испорчен аппетит и что он поужинает с Надин позднее.

Он облокотился о подоконник: вдали темнел огромный холм, и совсем рядом находился павильон, в котором спал Сезенак. Так он лежал в студии Поль в счастливую Рождественскую ночь. Они смеялись, поздравляли друг друга с победой, кричали: «Да здравствует Америка!» и пили за здоровье СССР. А Сезенак был предателем, спасительница-Америка готовилась поработить Европу, а уж к тому, что происходило в СССР, лучше не присматриваться. Очищенное от обещаний, которых оно никогда в себе не содержало, прошлое было шитой белыми нитками хитростью для дураков.

Фары машины прорезали темноту холма. Анри долго и неподвижно созерцал извивающиеся в ночи световые дорожки. Сезенак спал, а вместе с ним спали его преступления, Надин бродила по двору, ему не хотелось никаких объяснений. Не ожидая ее возвращения, он лег спать.

Сквозь сон Анри показалось, что он слышит шум. Он раскрыл глаза, под дверью виднелся свет. Надин вернулась разгневанная, но шум исходил не из ее комнаты; в стекла окна кто-то бросал камешки.

«Сезенак!» — подумал Анри, спрыгнув с постели. Он открыл окно и наклонился: Венсан! Он быстро оделся и спустился в сад.

— Что ты здесь делаешь?

Венсан сидел на зеленой табуретке, приставленной к стене дома. Лицо его было спокойно, но левая нога конвульсивно отбивала такт, а брючина дрожала.

— Ты мне нужен. У тебя есть машина?

— Есть. А что?

— Я только что убил Сезенака: его нужно увезти отсюда. Анри с ужасом смотрел на Венсана:

— Ты его убил?

— Это было не трудно, — сказал Венсан, — он спал, я воспользовался пистолетом, не возникло никакого шума. — Он говорил быстро и четко.

— Зачем ты это сделал? — прошептал Анри, опускаясь

на скамейку; он знал, что Венсан способен на убийство, что он убивал, только знание это было абстрактным. До сих пор Венсан был убийцей без трупов; его мания, как отравы или наркотики, подвергала опасности его одного. И вот теперь он вошел в павильон с револьвером в руке, приложил дуло к живому виску. Сезенак мертв.

— Как ты узнал, что он здесь?

— Шел по его следу. Я приехал на велосипеде; я бы засунул его в мешок, привязал к нему камень и, раскачав, бросил в речку. Я бы справился один. — Он поднялся. — Скоро рассвет, надо спешить.

Анри не двигался. Ему казалось, что его просят убить Сезенака собственными руками.

— О чем ты думаешь? — спросил Венсан. — Нельзя же его оставить здесь! Если не хочешь мне помочь, дай машину, и я постараюсь все сделать сам.

— Я тебе помогу, — сказал Анри, — но обещай мне оставить это занятие.

— То, что я сделал, акция одинокого волка. Что вы предпринимаете против всех тех негодяев, которые здесь появляются? Ничего. Так дайте нам защититься.

— Убийство — не способ защиты.

— Другого способа ты предложить мне не можешь. Или ты идешь, или не идешь. Решайся.

— Иду, — сказал Анри.

* * *

Анри и Надин отвезли Дюбрея на Лионский вокзал; он был мрачен, и Анри издали наблюдал, как он пожимал людям руки в холле вокзала; вероятно, он считал, что смешно уезжать сегодня и одними разговорами защищать мир. Однако, когда Дюбрей направился вместе со своими спутниками на платформу, Анри, провожая их взглядом, испытывал нечто вроде сожаления. У него было впечатление, что он исключен из общего дела.

— Что будем делать? — спросила Надин.

— Прежде всего пойдем за билетом.

— Мы все же едем?

— Да, — сказал Анри, — если мы увидим, что положение стало более серьезным, мы отменим отъезд. А пока мы назначили дату и будем ее придерживаться.

Они сделали покупки, приобрели пластинки, зашли в «Вижиланс», затем в «Анклюм», потом Анри пошел с Надин в кино. Когда они ехали по автостраде сквозь влажную тьму, она забрасывала его вопросами, на которые у него не было ответа. «Если они захотят тебя мобилизовать, что ты сможешь сделать? Что будет, если русские оккупируют Париж? Или если победит Америка?»

Обед был мрачным, Анна сразу же поднялась к себе. Анри остался с Надин. Она достала из сумки два конверта с билетами в мягкий вагон.

— Хочешь посмотреть почту?

— Да, давай.

Надин развернула письмо, полученное от очень любезного молодого человека. Обычно такие письма доставляли ей удовольствие, но в этот вечер ее, неизвестно почему, раздражала мысль, что в глазах некоторых людей Анри слыл прекрасным человеком. Часы пробили десять. Дюбрей сейчас выступал против войны, и Анри неожиданно подумал, что хотел бы оказаться на его месте. «Война, как смерть, к ней незачем готовиться». Но когда самолет пикирует над твоей головой, лучше быть пилотом, который пытается выравнять самолет, чем испуганным пешеходом. Делать что-то, пусть только говорить, — это все же лучше, чем сидеть в углу с мрачным видом и тяжелым сердцем. Анри представил полный зал, напряженное лицо Дюбрея, устремленного к людям и бросающего им пламенные слова, среди них нет места страху, тревоге, они полны надежды. Выйдя оттуда, Дюбрей пойдет перекусить, выпьет бужеле в каком-нибудь бистро, людям будет о чем поговорить.

Анри закурил сигарету. Словами войну не остановишь, но слово и не претендует на то, чтобы изменить историю. Просто это способ жить. В тиши кабинета, предостав-

ленный собственным кошмарам, Анри чувствовал себя скверно.

— Этот студент написал приятное письмо, — сказала Надин.

Анри рассмеялся:

— Он утверждает, что моя жизнь для него — пример.

— Человек следует тем примерам, которым может подражать, — сказала Надин.

— Но мысль о существовании тотального человека — идиотизм. Я мелкобуржуазный писатель, который неплохо приспособился к своим обязанностям и вкусам; только и всего.

Лицо Надин затуманилось:

— А я кто? В каком плане я должна рассматривать себя?

Анри не ответил. А он сам? Как он должен себя рассматривать, когда будет в Италии? Как он сможет избежать раздумий о себе?

— У тебя есть Мария, у тебя есть своя жизнь, свои интересы, — мягко сказал он.

— А также много времени, — сказала Надин. — В Порто Венере у нас будет очень много времени.

Она добавила:

— Ты уверен, что хочешь уехать?

Это было так похоже на Надин, она чего-то хотела, но едва получала желаемое, испытывала разочарование.

— Ты говоришь, что не будешь читать газеты, но ты будешь их читать, — сказала Надин. — Забавно будет получить «Вижиланс», если он однажды появится.

— В этом году я не переутомлялся и был очень счастлив, — сказал Анри. — Я уезжаю в Италию, чтобы продолжить это.

Надин неуверенно на него взглянула:

— Если ты думаешь, что действительно будешь там счастлив...

Анри не ответил. Счастлив: факт, это слово не имеет больше смысла. Нельзя завоевать весь мир, но нельзя и за-

щититься от него. Мы все в нем, вот и все. В Порто Венере, как в Париже, земля будет кружиться вокруг него со всей своей нищетой, преступлениями, несправедливостью. Он может затратить остаток жизни на то, чтобы убежать от этого, но никогда не сможет скрыться. Он будет читать газеты, слушать радио, получать письма. Все, чего он добьется, это то, что сможет себе сказать: я ничего не могу.

— Ты будешь рада, если мы останемся здесь? — спросил он.

— Я буду рада быть всюду, где находишься ты, — с порывом сказала она.

— Но тебе же хотелось жить в красивом месте среди солнца.

— Да. — Надин колебалась. — Ты знаешь, люди мечтают о рае, но когда их ставят к стенке, они в рай не очень спешат, — сказала она.

— Иначе говоря, ты жалеешь, что едешь?

Надин смотрела на него с серьезным видом.

— Я прошу тебя только об одном: делай то, что хочешь.

— Я больше не знаю, чего мне хочется, — сказал Анри и, включив проигрыватель, поставил одну из купленных пластинок. Если он не уедет, у него не так часто будет время их слушать. Он осмотрелся. Если же он уедет, он знает, что его ждет. На этот раз он предупрежден, что сумеет избежать некоторых ловушек, но он тут же подумал, что попадет в другие.

— Хочешь, послушаем музыку? — спросил он. Сегодня вечером нам нечего решать.

Но он знал, что уже решил.

ДОРА ШТУРМАН
"НАШ НОВЫЙ МИР"

Теория. Эксперимент. Результат.

Рукопись книги, циркулировавшая в Самиздате сначала 1970-х гг., была нелегально вывезена из СССР. Автор, выехавший вслед, издал ее в 1981 году, дополнив (спустя десять лет) новыми фактами и статистическими данными, которые убедительно показали достоверность "подпольного анализа". Новое издание расширено и дополнено материалами 1980-х гг., еще более четко подтвердившими первоначальные прогнозы.

Объем книги — 460 страниц. Цена — 15 долларов (в Израиле — 20 шекелей). Пересылка: в Израиле — 1,4 шек.; в Европу и США морской почтой — 1,7 долл.; авиапочтой: в Европу — 2,5 долл., в США — 3,5 долл. Книгу можно получить, отправив чек по адресу: S. Tictin, 422/6 Mizrakh Talpiot, Jerusalem 93802, Israel, Tel. 02/721633

Д. ШТУРМАН и С. ТИКТИН

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В ЗЕРКАЛЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО АНЕКДОТА

Предварительная подписка на
издание второе исправленное и дополненное

Цена книги — 21 доллар. Для подписчиков цена, включая доставку заказной бандеролью морем — 16 долл., авиапочтой — 17,5 долл. Некоторое повышение стоимости книги вызвано увеличением ее объема, в основном, за счет **НОВЫХ** анекдотов, богатых событиями 1985-1986 гг.

Чеки посылать по адресу:

S. Tictin, 422/6 Mizrakh Talpiot. Jerusalem 93802, Israel
Просьба к подписчикам сообщать свой подробный адрес.

КНИГА ВЫЙДЕТ В ТЕЧЕНИЕ 1987 ГОДА

ПОЭТ БЕЗВРЕМЕНЬЯ

Мы очень мало знаем об авторе этих стихов, Владимире Гандельсмане. Знаем, что он родился 12 ноября 1948 года в Ленинграде и там продолжает жить. Знаем, что он окончил ЛЭТИ, мало работал по специальности. Знаем, что главная страсть его жизни — это стихи, которые он пишет с детства, и в Советском Союзе не печатался...

И все же мы знаем о нем много, потому что перед нами его стихи, в которых выразилось самое важное из того, что мы хотим знать, когда знакомимся с новым человеком, да еще с поэтом.

В стихах Владимира Гандельсмана сильнее всего звучат две ноты: одна — общая для всего этого поколения — тихое, всепоглощающее отчаяние, вернее безнадежность и покорность этой безнадежности, ничем не колеблемое убеждение, что жизнь ничего не принесет нового и радостного, что в ней не будет перемен, надеяться не на что и ждать нечего. Другая его тема — это привязанность к Петербургу, это именно Петербургская, а не Ленинградская тема. Продолжая, как и многие, мандельштамовскую тему Петербурга, который так живо ощущаем сквозь чуждое городу и неприятное поэту ленинградское обличие, Владимир Гандельсман этой темой приобщает себя к чему-то внеличному, может быть, к истории, от которой для себя ничего не ждет — ни хорошего, ни плохого. Поэт безвременья, Владимир Гандельсман для нас свидетель и очевидец той эпохи, которая, как кажется, себя уже изживает. И, может быть, намечающаяся оттепель разморозит душу поэта. Но пока еще признаков этого нету...

Илья СЕРМАН

Владимир ГАНДЕЛЬСМАН

ЦЕПЛЯНИЕ ЗА ЖИЗНЬ

Домой, домой, домой,
с Крестовского съезжая
моста, я вздрогнул: боже мой,
какая жизнь простая,

как все проявлено — торчат
деревья, трубы,
и мокрый снег летит, и спят
в снегу гребные клубы,

и все молчит, срезаясь за
стекло косым квадратом,
то набега, то сквозь,
то волочась закатом,

а там, среди серых плоскостей,
смирятся, смиряют,
хоронят, любят, ждут гостей,
живут и умирают,

и надо двери отворить,
и надо чаю заварить...

1978

Чем пахнет остывающий уют
и комнаты молочное смерканье,
и плавность призакрывших полог рук,
как не ребенком спящим, как не тканью,
где затаился шелковый испуг.

Средь бела дня есть пауза, она
от тяжести любви почти свободна,
в ней женщина — не мать и не жена,
и сбывшемуся так же чужеродна,
как будто на него осуждена.

Не я из ее паузы изъят,
я только лишь угадываю сумрак,
да зеркала темнеющий квадрат,
где в глубине графин с набором рюмок
мерцающее что-то говорят.

Тем лучше, что мы не были близки,
что порознь испытываем эти
приливы изумительной тоски,
которые испытывают дети,
проснувшись, когда в комнате ни зги.

1978

Все совестней цепляние за жизнь,
а речь срывается в словесный шум, кишащий
самим собой, ты вылазке кошачьей
четверолапых строф бросаешь «брысь»...
Речь раньше разума, невнятность не каприз,
но чуянье и призрак настоящий.

И в дебри зарываясь, как зверье,
почуявшее смерть, она клокочет
тем человечнее, чем больше забывает,
чем более сама себя не хочет...
То жизнь моя, цепляние мое,
обвал и пропаданье среди ночи.

1978

...ты в комнату вошла и видишь: вещи
разобщены, мертвы, как в магазине,
и чуждый запах в комнате стоит.
Смотреть в лицо умершего не надо.
Зачем оно притягивает нас?
Так иногда не слышен ход часов —
зато слышна их остановка. Время
остановилось, циферблат вещей
утратил смысл. Скажи, тебе не легче,
и ты бы не могла сказать: свершилось,
утраты больше неоткуда ждать?

Ты столь жива, что лучше мне не видеть
твое лицо, ты знаешь этот ад
быть умершим и зрячим, эту ревность,
когда я, задыхаясь, не могу
тебя отнять у жизни, знаешь? Тяжесть,
которую ты сбросила — на мне
лежит двойной утратой без предела.

Но если я осилю этот ад,
тебя забыв, сказав, как ты: свершилось,
мне неоткуда больше ждать утрат,
то мы свободны...

1978

О радости — как засыпает мост,
как засыпают полувеки
его пролетов,
как снег летит в деревья, в их навеки
открытый мозг,

о русле, где липовое сверло
своих тяжелых оборотов
вращая бремя,
колеблет цепи ртутных переметов,
и занесло

мой спичечный — по крышу — коробок,
дарованный на время
сезонной стужи...
Два-три пейзажа, чувства, две-три темы
и детский бог —

вот все, что есть, все крохи изнутри;
о радости, о разности — снаружи
покой могучий,
душа иль плоть — они так много хуже
любой поры.

Лишь точной речи, поднятой со дна,
влажно-сыпучей,
вся разность эта —
ослепшей речи, поднятой на случай —
всегда равна.

О радости — как засыпает все,
как милицейская комета
летит, мигая,
наматывая зелень снега, света
на колесо...

1978

ТРИ ВРЕМЕНИ ГОДА

1

Чередование года времен
я застаю у себя в котельной,
с мышью, притихшей в кладовке, вдвоем
слушаем осени шум запредельный,
или вдруг слушать перестаем...

Третий уж год параллельно реке
я засыпаю, по левую руку —
парк, и ничто уже не вдалеке...
Дверь отворяю и радуюсь другу,
снегу, тающему на воротнике.

2

За ночь снега под дверь насыпает,
я лопатой его разгребу,
оглянусь — параллелепипед
дома желтого на берегу,
дверь открыта и чай не выпит.

А на стенах осела копоть, —
невесомый рисунок дней,
тех, что некий безумец копит
и записывает... ему видней...
Но меня ничто не торопит.

3

В угол, в уголь смотрел
 черно-синий
я вчера, и таких длиннот
вдруг услышал — не звук —
 пустыню,
что замедлило время ход
и пропало в полночной тине...

Но откуда тогда под подошвой
утра хрусткие ямы, бугры,
ночь, утекшая в темень коры,
мир с голубизною подмерзшей
накануне цветенья поры?

1979

Это город слепых,
розоватых, трапецеобразных
стен, от ветров ненастных
оградивших живых,
это город глухих
переулков несчастных,
и безмолвных, прекрасных
снегопадов густых.

Это город теней
во дворах нездоровых,
это город, готовых
к вымиранью, людей.

Это город, детьми
облюбованных горок,
древний образ мне дорог —
если хочешь, возьми —
это город зимы,
мандариновых корок,
холодов, полутьмы,
вереницы огней
с желтым прицветом йода,
и железных коней,
и того пешехода...

ну, живи, цепеней...

1981

Я о тебе молюсь,
я за тебя боюсь...
Пока живем — живем,
пока вдвоем — вдвоем,
но как вместить обещанную грусть,
какое платье из нее сошьем?

Я не хочу смотреть на государство-смерть,
и на его зверей,
и на его червей,
но как вместить обещанную твердь,
читатель иоанновых страстей?

Но как тебя спасти,
 когда нас нет почти,
 и дар случайный жить
 нас понуждает скрыть;
 я ничего не вижу впереди.
 Как эту тьму кромешную вместить?

Дай, только раз вдохну,
 дай, только жизнь одну,
 пока живем — живем,
 пока вдвоем — вдвоем,
 дай только жизнь еще раз помяну...
 Жить будем ли мы вновь, когда умрем?

1982

Шум, шум, шум
 дождя шум, шум,
 спит земля-тугодум,
 я в подушку стихи прочту
 не про эту жизнь, я про ту,
 где и сердце, и ум.

Спит, спит, спит,
 земля спит, спит,
 кто убил, тот и сыт,
 я тобою лишь дорожу,
 да еще двумя, кем дышу,
 кто еще не убит.

Друг, друг, друг
 тебе друг, друг,
 мое слово не вдруг,
 ты приник к нему-своему,
 как и я приник к твоему,
 есть лишь родственный звук.

Лишь, лишь, лишь
 дождя лишь, лишь,
 под который ты спишь,
 наполняет комнату шум,
 шевелящихся долгих дум
 потрясенная тишь.

1982

ОТРЫВОК

...лучше комнаты чистой, пустой,
 в пору семерек, с тусклым свеченьем
 уносимых теченьем вещей,
 уносимых теченьем,
 и хранящих могучий покой,

лучше сумерек в пору лучей
 там, за кровельной кромкой железа
 утонувшего жаркого веса,
 синеватых теней
 на рельефе дверного отвеса... —

всей спиною к нему прислонясь,
 так и вплыть ненароком, небольно,
 с мандариновой долькой вдали
 кислоты треугольной,
 в темноту, в тишину несейчас,

несейчас, никогда, неземли,
 в пору сумерек, умерек, в пору
 сжатий горя — мы тоже прошли,
 но спокойному хору
 повинуюсь, прикрыв за собой
 белоснежную дверь с синевой...

1982

Вижу часть двора, помойный бак,
освещенный лампочкой из подворотни,
руку и лицо свое на оборотной
стороне материального, сегодня
тяжело дышать так.

Будто время жизни твоей истекло,
или заживо она зарыта,
или это не я, а рыба
дышит в жаберные изгибы,
тычется в аквариумное стекло.

Будто знаю все я наперед,
что с тобой произойдет.

И тогда я раздавлен той
толщей жизни, навалившейся вдвое
на меня, с двух сторон в стекло сплошное
меня сплющивая, такое
задыханье сегодня, постой, постой...

1983

Мало ли, что хрустят
тонкие кости души,
мало ли, чем объят,
слова не напиши,

вон человек с ведром
возле помойки, вон
рыжим с небес ядром
тусклый цинк оживлен,

медно-кухонный быт,
бледно-поденный труд,
нет у меня обид,
нет и души вот тут,

вон человека шаг
лужи цветной в обход...
Господи, так все. Так.
Господи, вот я. Вот.

1984

1

Как я свободен
как отцепившееся небо,
и никому не должен, и никуда не годен...
Я только вдоху повинуюсь слепо.
И это все, все, все,
живущему не надо оправданья —
столь выпукло его лицо,
и явственно его дыханье.

2

Это долгий путь
вдоль по набережной куда-нибудь.

Вдруг найдешь на краю
городского ума — в лопухах
и репейниках жизнь свою...
жизнь свою, ах.

Надышавшись мокрыми сливами
 синей реки,
 вдруг найдешь вопреки
 смыслу — в пальто и кепке
 жизнь свою в устройствах куда-нибудь кем-то
 на работу, осенью, часа в четыре
 найдешь себя у себя на ладони...

Это долгий путь в гаснущем мире,
 в солнечных сумерках, на фоне
 кирпичной стены.

1982

3

Я ли при жизни,
 воздух ли здесь у лица,
 свет обступает...
 Кто тебя видит и кем ты так выбран стоять
 в солнечной осени возле киоска...

Нет никого, без тебя
 кто бы не смог обойтись, нет никого,
 боль — это то, что стихает...
 Так ли правдиво-пустынно твое существо?

1985

Так жизнь заканчивается — в кресле,
 у телевизора... друг мой, взвоешь,
 друг мой, этой жизни угасающей, пресной,
 тихой, умопомрачительной хочешь?
 Старость двух стариков сквозь желтый
 свет в коридоре жалит сердце,

эти шлепанцы и кошелки
 видеть, на стершейся, серой
 подкладке жизнь эту видеть больно,
 умирающую в тупике своего тела
 равнодушно: «с меня довольно»...
 Так жизнь сворачивается не сразу,
 так тяжелые остановки духа
 превращают любви совершенный разум
 в жили-были старик со старухой,
 так сбываются худшие предсказания,
 так жизнь заканчивается и об этом,
 прежде животворящее, знание
 вдруг наделяет погасшим светом.



Владимир ШЛЯПЕНТОХ

АЛЕКСАНДР II И МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ

Исторический взгляд на двух реформаторов

Те, кто считает, что Горбачев стремится к коренному переустройству советского общества, нередко обращаются за сравнением к Петру I — русскому царю, ввергнувшему страну в бурную пучину преобразований. Конечно, полностью отрицать существование связи между Горбачевым и Петром нельзя — оба стремились модернизировать Россию. Но разница в исторических условиях с разрывом в триста лет настолько огромна, что сравнение это мало способствует пониманию происходящего сегодня в СССР.

Между тем, история России знает другого царя — Александра II — царя освободителя, чье правление может оказаться куда полезнее для понимания Горбачевской политики и ее перспектив. Сегодняшние процессы в СССР во многом схожи с событиями, охватившими Россию в 60-е годы прошлого века. Хотя, может быть, и в не такой явной форме, но Россия тогда также стремилась к частичной ли-

берализации, дух которой был совершенно чужд реформам Петра.

Появление и Александра и Горбачева пришлось на одну и ту же «фазу» политического цикла, столь типичного для авторитарных стран, где периоды консерватизма неизменно сменяются периодами либеризации.

ОБЩНОСТЬ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ: НИКОЛАЙ I И ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ

Историческое наследие, доставшееся Александру от Николая, правившего страной с 1825 по 1855 гг., имеет много общего с тем, что получил Горбачев от Брежнева, находившегося у власти с 1964 по 1982 годы. И Николай и Брежнев испытывали сильную неприязнь к либеральным начинаниям своих предшественников, сваливая на них трудности сложившейся ситуации. В либеральной политике своего брата, Александра I, Николай узрел причины восстания декабристов.

Когда в 1964 году Брежнев пришел к власти, он выдвинул аналогичные обвинения в адрес Хрущева, который своей антисталинской кампанией и заигрыванием с либеральной интеллигенцией создал в стране ситуацию, чреватую опасностью для советского строя. Любопытно, что оба прибегли к психиатрическим больницам для расправы с людьми, особо критически настроенными по отношению к режиму. По указу Николая, туда был посажен такой выдающийся русский мыслитель как Петр Чаадаев; при Брежневе этот способ «лечения» стал применяться намного шире, и в психушки были заключены сотни и сотни диссидентов.

Важно отметить, что желание власти сохранить статус кво привело к тому, что Россия превратилась в жандарма Европы. Николай подавил польское восстание 1848 года, а Брежнев задушил либеральное движение, всколыхнувшее в 1968 году Чехословакию.

Эти события сыграли центральную роль в их «царствованиях» и оказали огромное влияние на внутреннюю жизнь

страны. Резко усилились гонения на диссидентов. После подавления венгерского восстания были арестованы члены кружка Петрашевского и среди них Достоевский. Начатая Брежневым в 1968 году широкая кампания против интеллектуалов, в которой пострадали Солженицын, Сахаров и многие другие, ввергла страну в период глубокой реакции.

Николай и Брежнев до последнего момента не желали соприкоснуться с реальной жизнью народа, чему крайне способствовало их окружение, стремившееся утаить от них любую объективную информацию о положении в стране. Приведу по этому поводу слова известного историка Николаевской эпохи Погодина — «Государь, очарованный блестящими отчетами, не имеет верного понятия о настоящем положении России. Став на высоту недостижимую, он не имеет средств ничего слышать, никакая правда до него достигнуть не смеет, да и не может»*.

Горбачев в крайне мягкой форме охарактеризовал Брежневский период, как нежелание осознать происходящее «в обществе опасное усиление негативных процессов».**

До последних дней Брежневского правления официальная статистика создавала совершенно искаженную картину экономического положения в стране при полном отсутствии в прессе какой бы то ни было ее критики.

Очень типичен в этой связи пример с социологией — наукой, которая была превращена в один из многочисленных рычагов прославления режима. Как писала известный социолог Татьяна Заславская в «Правде» от 6 февраля 1987 г., «...проще было перечислить области, которые социологи могли изучать, чем те, которые они не могли»***. Кремль, просто-напросто отказывался пропускать информацию, могущую внести беспокойство в сознание страдающего от недомогания лидера.

Примечательно и то, что в конце властвования и Брежнев и Николай развернули бурные кампании по прославлению абсолютно фиктивных достижений их режимов: Николай проделал это в 1850 году в связи с 25-летием своего царствования, а Брежнев в 1981 году по случаю такой крупной даты как день своего семидесятипятилетия. При всем том Николай оказался намного более честным человеком. В отличие от Брежнева, который, судя по многим неофициальным источникам, не отступал от своих совершенно нереальных представлений даже в разговорах с близкими к нему помощниками, Николай перед смертью, в частной беседе со своим наследником признал упадок России: «Я веряю тебе страну в плачевном состоянии».*

Оба периода отличались небывалым расцветом лжи. Для критиков как Николаевской, так и Брежневской эры, ложь являлась чуть ли ни главной причиной стагнации общества. В 1855 году Александр Корнилов, либеральный помещик, настаивал на введении специальных докладных записок о «лжи в правительстве», «лжи в церкви» и «лжи помещиков». В 1986 году в «Литературной газете» (от 15 января и 16 апреля) появились статьи двух советских авторов, Май Ганиной и Ольги Чайковской, посвященные проблеме лжи как одному из основных «институтов», созданных брежневским правлением.

НАСЛЕДИЕ, ДОСТАВШЕЕСЯ АЛЕКСАНДРУ II И МИХАИЛУ ГОРБАЧЕВУ

Обоим досталась страна с отсталой и разваливающейся экономикой, парализованная хищными, своекорыстными бюрократами, в особенности заполонившими средние уровни правительственной иерархии. В первом случае это были помещики, во втором партийные аппаратчики. За эти

* А.А.Корнилов. «Общественное движение при Александре II», П., 1909, стр. 9.

** М.С.Горбачев. «Правда», 28 января, 1987 г., стр. 1.

*** Т.Заславская. «Правда», 6 февраля, 1987 г.

* Vernadskii, A History of Russia, 1966, p. 218, New Haven: University Press.

два периода заметно увеличилось техническое отставание России от Запада.

Наибольший урон инерция и консерватизм власти нанесли сельскому хозяйству. При Николае в этой столь жизненно важной для страны отрасли (несмотря на некоторые законодательные акты в пользу крестьян) не только не наблюдался рост производства, но даже отмечалось падение урожаев на землях, засеянных зерновыми культурами*. Буквально то же самое произошло при Брежневе: в 1982 году урожайность всех видов культур была в лучшем случае такой же, а чаще всего ниже, чем в 1970 году.**

Строительство железных дорог, олицетворяющее индустриальную революцию в России, в эпоху Николая осуществлялось крайне медленно. Например, в 1861 году железнодорожная сеть в России была в десять раз меньше английской и примерно в семь раз меньше немецкой.

При Брежневе Советский Союз испытывал техническое отставание от Южной Кореи и Гонконга, не говоря уже об Америке, Западной Европе и Японии. Ярким подтверждением этому служит состояние советской электроники и компьютерной промышленности. В середине 80-х годов СССР все еще не мог произвести свой собственный микрокомпьютер, видео-магнитофон и множество других электронных приборов, которые производятся на Западе в массовом количестве. В этой области отставание СССР измеряется по крайней мере десятью-пятнадцатью годами.

Вдобавок, оба лидера унаследовали страну, разьедаемую коррупцией и nepотизмом (землячеством и кумовством). Описания коррупции, пронизывающей всю Россию во времена Николая, удивительно напоминают Брежневскую эру. То, что происходило в Москве, Пензе и Восточной Сибири при Николае абсолютно аналогично произволу, который творили первые секретари в Ростове, Краснодаре и Узбекистане. И при Николае и при Брежневе за взятки

* Пященко, 1947 г., стр. 522, Хромов, 1950, стр. 18.

** ЦСУ, 1985 г., стр. 225; 1982 г., стр. 228.

предоставлялись самые высокие должности и взятками разрешали любые проблемы. Как и тогда, местный администратор считал себя полным хозяином своей «вотчины», совершенно не опасаясь жалоб царю или Генеральному секретарю. Почта, адресованная в столицу, подвергалась цензуре местных властей, что считалось вполне нормальным явлением. А поскольку и правосудие было полностью в руках местных бюрократов, им ничто не мешало быть у себя мелкими тиранами. Как писал Александр Хомяков, поэт и философ Николаевской эпохи, судопроизводство при Николае являло собой символ «черной неправды, рабского ига, безбожной лести и прочих гнусностей».*

С 1985 по 1987 годы, впервые после революции, в советской прессе появились материалы, изобличающие советскую судебную систему. Статьи в «Литературной газете», представляющие советский суд как лишенный какой бы то ни было самостоятельности и целиком подчиненный местным властям, удивительно напоминают описания судов в России в середине прошлого века, — они также находились под пятой местных помещиков и бюрократов.

Характернейшим качеством этих двух режимов был пессимизм и практически полное бессилие интеллектуальных кругов. Либеральная интеллигенция была коррумпирована или подавлена. При Николае — расправой с декабристами, являющимися собой интеллектуальный цвет российского общества, а при Брежневе — репрессиями против диссидентов. Последующая политика Николая и Брежнева практически не встречала в столицах сколько-нибудь заметного сопротивления. Те, кто не хотел отречься от своих убеждений, были либо сосланы, либо эмигрировали.

Для обоих периодов была характерна жестокость цензуры, как, впрочем, и других мер, направленных на пресечение контактов с Западом и проникновения в Россию

* А.Хомяков «Стихотворения и драмы», М, 1969, стр. 196.

либеральных идей. Во времена Брежнева совершенно невозможно было упоминать таких людей, как Сахаров или Пастернак, а при Николае I забвению были преданы все сторонники либерализации, включая тогда уже покойного Белинского и эмигрировавшего на Запад Герцена. Существовал ряд понятий, которые строго-настрого было запрещено употреблять в прессе. При Николае это были термины типа «революция» и «отмена крепостного права»; «плюрализм», «демократизация», «оппозиция» и даже «реформа» — в последний период Брежневского правления.

Пушкин передал дух своего времени в следующих словах: «Наша общественная жизнь представляет печальную картину. Это полное отсутствие общественного сознания, безразличие к правде и справедливости, циничное презрение к человеческой мысли и порядочности».

Особенно примечательно, что и в том, и в другом случае идея реформы не была следствием сложившейся ситуации. Ни при Николае, ни при Брежневе в стране не произошло никаких крупных мятежей или забастовок — ни в провинции, ни в больших городах.

Решительность, с которой оба реформатора принялись за «перестройку», была обусловлена страхом перед политической нестабильностью в стране. Царь, обращаясь к дворянству, заявил «...лучше, чтобы такой шаг был сделан сверху, чем снизу». Горбачев и его сподвижники не раз выражали ту же мысль, хотя и в несколько иных словах. Однако толчком к перестройке послужила не столько забота о внутреннем положении в стране, сколько страх перед превращением России во второразрядную державу. И Александр II, и Горбачев видели свою историческую миссию в недопущении упадка России и сохранении ее как великой державы на международной арене. Оба приводили в оправдание осуществляемой реформы один и тот же довод — «интересы государства».

Как признается в недавно опубликованном в СССР учебнике истории, именно поражение в Крымской войне обна-

жило техническую и экономическую отсталость России перед лицом двух могущественных держав — Франции и Англии.

Тот же страх, только вызванный не военным поражением, а постоянно растущим отставанием СССР от США ощущается и сегодня. «Звездная война» Рейгана в какой-то степени сыграла такую же роль, что и Крымская война. Как подчеркнул главный редактор газеты «Правда» Виктор Афанасьев, побывавший в 1986 году в Америке, этот проект был воспринят Кремлем как попытка США получить полное, притом долговременное военное и техническое превосходство над Советским Союзом.

Опасность превращения СССР в страну третьего мира является неизменной московской темой восьмидесятых годов. В последнее время подобные заявления просочились даже в прессу и напоминали настроение, царившее в Петербурге во времена Николая I.

ЦАРСКАЯ И СОВЕТСКАЯ «КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА»

Оба лидера являются представителями той части политической элиты, которая считает, что возрождение мощи и престижа России возможно только путем либерализации и ограничения бюрократии. В обоих случаях программа реформы состояла из двух основных частей — экономической и политической. При этом в центре экономической программы было усиление индивидуальной инициативы и усиление роли рыночного механизма в функционировании экономики.

Проблема сельского хозяйства, какие бы колоссальные изменения ни произошли в России, не утратила за 125 лет своей злободневности. Даже суть проблемы одна и та же — как заставить крестьянина работать производительнее. Решение заключалось в раскрепощении крестьянина, в ослаблении довлеющих над ним внешних сил: в ту пору это были помещики, а сегодня — это государство с его бюрократией.

В царской России для этого требовалось отменить крепостное право как таковое, провести земельную реформу, усилить роль рыночного механизма и частного крестьянского хозяйства.

В СССР для этого необходимо распустить колхозы и отменить советское крепостничество, которое еще недавно приковывало крестьян к селу и формально лишило их права перемещаться как свободным и наемным работникам. Это потребовало также введения заработной платы за их работу на государство (при Сталине им практически ничего не платили). Наконец, необходимо было ограничить партийный произвол, предоставив руководителям хозяйств автономность и всячески поощряя личную инициативу крестьян.

Фактически «крестьянская реформа» в СССР началась вскоре после смерти Сталина. При Александре реформа затянулась больше чем на тридцать лет, поскольку процесс выкупа земель крестьянами шел крайне медленно. В наше время только в начале семидесятых годов колхозники получили свободу передвижения, когда им выдали те же внутренние паспорта, как и остальным гражданам.

При Хрущеве, и особенно при Брежневле, колхозное крепостничество подверглось критике, и крестьянам стали платить за их труд деньгами. Горбачев собирается еще больше расширить «крестьянскую реформу». Свою задачу он видит в расширении автономии колхозов и совхозов и в особенности в переходе к «семейному подряду», т.е. производственной ячейке, в которой и машинами, и землей распоряжается семья; она же имеет право поступать с излишками по своему усмотрению.

РЕФОРМЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

И Александр, и Горбачев хотели провести либеральные реформы не только в сельском хозяйстве, но и в эконо-

мике в целом и, в особенности, в промышленности. Безусловно в программе Горбачева городам и промышленности отведена большая роль, но эту разницу не стоит преувеличивать; ведь управление экономикой тоже осуществлялось по-разному. В царской России не было ничего похожего на партию с ее мелочной опекой над каждым предприятием. Вообще в СССР вмешательство бюрократии в экономику в целом, конечно, несравненно сильнее, чем в России при Николае I. Но с учетом особенностей эпох в характере нововведений мы видим много общего.

Даже крестьянская реформа, проведенная Александром, была направлена на ускорение роста промышленности. Крестьяне могли теперь как свободные люди заниматься не сельскохозяйственной деятельностью — вплоть до организации своего собственного дела. В сочетании с реформой в городах это помогало частному предпринимательству преодолеть тормозящее влияние дворянства и правительственной бюрократии. Реформа задалась целью резко уменьшить экономическую роль государства в пользу частного предпринимательства. Пример с железными дорогами особенно поучителен: в первые двадцать лет правления Александра частники, до этого практически не участвовавшие в их строительстве, проложили в 15 раз больше железных дорог, чем государство.

Ту же направленность имеют и Горбачевские реформы. Законы о предприятиях существенно расширили власть директоров: им разрешено определять зарплату рабочим, продавать, если надо, оборудование, в некоторых случаях устанавливать цены и много других вещей, которые раньше были прерогативой плановых органов. При всей разнице в исторической обстановке задача реформ заключалась в предоставлении большей свободы менеджерам. Чтобы они не думали о последствиях своих действий, оба реформатора (при том, что отправной точкой для одного был феодализм, а для другого — социализм) стремились развить личную энергию людей и мобилизовать в народе экономи-

ческую инициативу. Ярый сторонник «семейной фермы» в сельском хозяйстве, Горбачев пытается внедрить «семейный бизнес» и в торговле, и в сфере услуг. В России это существовало по крайней мере с 13 века, а может быть, и раньше.

Кооперативы, поддерживаемые горбачевским режимом, являются по существу той же (только более завуалированной) формой частного хозяйства, не требующего от властей слишком больших идеологических уступок.

Даже так называемый «коллективный подряд» в промышленности, как и «семейный подряд» в сельском хозяйстве, основан на том, что небольшие производственные ячейки получают в длительное пользование оборудование и смогут действовать, почти как собственники. Другим шагом Горбачева в том же направлении была легализация деятельности иностранных фирм в качестве партнеров в совместных проектах. Все это свидетельствует о стремлении нового руководства постепенно внедрить частную собственность в советскую экономику хотя бы в «стертой форме».

СХОЖЕСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕФОРМ

При Александре, на протяжении примерно десяти лет пресса была практически не подцензурна. Сотни политических заключенных, ставших жертвами предшествующего режима, были освобождены. Александр отпустил декабристов и членов кружка петрашевцев, Горбачев — диссидентов. В общем, периоды конца 50 и начала 60 годов прошлого века и 1985-87 годы пронизаны, выражаясь словами одного советского историка, тем же «духом либеральных реформ».

Видя своего наиболее верного союзника в лице либеральной интеллигенции, и Александр и Горбачев пытались мобилизовать ее на борьбу со «злом коррумпированной бюрократии». Горбачев покровительствовал ряду критически настроенных писателей типа Евтушенко и Распутина. Александр проявил царскую милость к Салтыкову-Щедрину, сос-

ланному при Николае за свои «Губернские очерки». Чтобы ублажить интеллигенцию, были опубликованы книги, зарезанные цензурой и не вышедшие в свет многие десятилетия. Александр, на радость русской общественности, решил выпустить полное собрание сочинений Пушкина и Гоголя. Горбачев сделал то же с двумя ранее опальными писателями — Платоновым и Пастернаком. Не удивительно, что сливки интеллектуальной элиты были в восторге от новых лидеров. Один дореволюционный русский историк писал «Всякое слово, сказанное Александром, истолковывалось в это время в сторону общественного возрождения».*

Буквально то же самое произошло в 1985 году, а еще в большей мере в 1986, когда для большинства интеллектуалов Горбачев превратился просто в идола. Дух, царящий в Москве в последние годы, во многом перекликается с петербургским в начале царствования Александра. Это видно хотя бы по впечатлениям иностранцев, посетивших Россию в первый раз после смены режимов. Письмо русского посла в Вене Балабина своему коллеге в Париже могло быть написано через 130 лет американским корреспондентом в Москве после пятилетнего отсутствия: «Вы рискуете теперь, приехав в Россию, не узнать ее. По внешности все кажется то же, но вы чувствуете, что начинается новая эра. Самые отсталые скептики должны признать, что за эти два года общественное мнение в России сделало огромные успехи. Читайте наши газеты и журналы, послушайте, что говорится в блестящих салонах и скромных домах, и вы будете поражены работой, которая совершается в головах.**»

Но главным в политике двух лидеров было не заигрывание с интеллектуалами, а их стремление активизировать политическую жизнь страны. При этом оба были далеки от стремления создать истинно демократическую систему, так

* А.А.Корнилов. «Общественное движение при Александре II», Петербург, 1909 г., стр. 20.

** А.А.Корнилов, стр. 47 (см. сн. 1).

как оба считали ее несовместимой с тем обществом, которым они управляли. Вместе с тем они оба были убеждены, что создание институтов, могущих обуздать бюрократию, совершенно необходимо для модернизации России.

Политические реформы, проведенные Александром, серьезно изменили структуру русского общества. Во-первых, было создано земство — губернское правление, имевшее реальную автономию. Благодаря «городской» реформе в стране появилось независимое городское правление. Реформа образовательной системы обеспечила определенную независимость университетам и децентрализованность в управлении гимназиями; влияние официальной религии на образование резко ослабло.

Особенно была важна судебная реформа, которая ввела суд присяжных. Пожалуй, последняя из всех перечисленных была наиболее демократичной. О реальной независимости судов свидетельствует, например, оправдание таких радикалов, как Вера Засулич. Как правило, суд оправдывал писателей, обвиняемых правительством в нарушениях закона о печати.

По сравнению с Александром, достижения Горбачева, куда более скромны. Местные власти по-прежнему находятся в полном подчинении у партийного аппарата, об их независимости не может быть и речи, хотя они и твердят, что были избраны народом.

Поговаривать о «судебной реформе» начали совсем недавно. Впервые эта тема всплыла на страницах «Литературной газеты» (7 и 21 января, 1987 г.), но пока советский суд по-прежнему под пятой местной бюрократии. Университеты в СССР лишены какой бы то ни было независимости, и сколь-нибудь серьезного влияния на начальное и среднее образование общественное мнение не оказывает. Тем не менее похоже, что Горбачев стремится к тем же демократическим преобразованиям, что и Александр II. Его программа, объявленная на январском пленуме Центрального Комитета КПСС (1987 г.), в общем направлена как и у

Александра, на обуздание произвола коррумпированной бюрократии.

В своей речи на пленуме Горбачев прямо заявил, что «демократизация является основой перестройки». * В заключительной речи он сказал: «Мы нуждаемся в демократии, как мы нуждаемся в воздухе. Если мы этого не поймем, или поняв, не воплотим... наша политика перестройки обречена на провал...»

Политические реформы, вводимые новым руководителем, предполагают реальное участие людей в деятельности местных органов, выдвижение на выборах нескольких кандидатов на одну должность (пусть даже от одной партии), превращение средств массовой информации в относительно независимый институт. Однако все эти шаги далеко не соответствуют тому уровню демократизации общества, который был достигнут в России в начале 60-х годов прошлого века.

Каковы же перспективы горбачевских реформ? Люди, верящие в серьезность его намерений, делятся на две группы — пессимисты и оптимисты. Предсказать будущее невозможно, но все же интересно проследить историю реформ Александра I, чтобы попытаться это будущее представить.

ОПАСНОСТЬ НОМЕР ОДИН: ПРАВЫЕ

Глубокая связь рассматриваемых здесь периодов состоит еще и в тех конфликтах, которые породили эти реформы в России и в СССР. В 1861 году страсти накалились до такой степени, что царское правительство ожидало бунт в день, когда был объявлен манифест об отмене крепостного права.** Возможность социальных волнений в период

* М.С.Горбачев. «Правда», 28 января 1987 г.

** П.А.Зайончковский. «Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в.», «Мысль», М, 1978.

перестройки советского общества также обсуждалась, но Горбачев категорически отвергал ее актуальность.*

Главным противником реформ как Александра, так и Горбачева была, безусловно, господствующая бюрократия, в глазах которой священной обязанностью вождя (будь то царь или Генеральный секретарь) было сохранение ее общественного статуса.

Конечно, попытка умалить роль бюрократов воспринималась ими как катастрофа, как покушение на незыблемые принципы, на коих покоится общество, как сплошная демагогия, которая может обратиться бедствием для страны. Сегодня, как и тогда, их главным аргументом против реформ являются «вражеское окружение», «иностранные интриги», связь либералов с «иностранными агентами» и т.п.

В записке к Александру Безобразов, довольно высокопоставленный при дворе чиновник, обвинил не только интеллектуалов, но и самых авторитетных чиновников, занимающихся осуществлением реформ, в политической нелояльности и сотрудничестве с иностранцами, граничащим с изменой. Докладной записке Безобразова недостает только эпитета «сионисты», чтобы ничем не отличаться от доводов противников Горбачева.

При этом царю с его властью и харизмой было намного проще справиться с реакционерами, чем Генеральному секретарю, которому нередко приходится бороться с мощной и открытой оппозицией. В августе 1987 г., когда эта статья была закончена, конфликт между новым руководителем и аппаратом продолжал оставаться очень напряженным.

Реформы Александра немедленно улучшили материальное положение миллионов людей. Горбачевская перестройка в первые два года скорее имела обратный результат, не случайно с самого начала бюрократия рассчитывала на ее провал. При отсутствии популярности, которая была у царя (или даже у Ленина и Сталина) Горбачев должен быть го-

* «Правда», 26 февраля 1987 г.

тов к тому, что сопротивление бюрократии будет все более усиливаться. Возможен даже заговор, подобный тому, который привел к падению Хрущева в 1964 году.

ОПАСНОСТЬ НОМЕР ДВА: НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ

Реформы затронули и другой, не менее щекотливый взрывоопасный для Российской империи — национальный вопрос. Александр и Горбачев прекрасно понимали, что либерализация (не говоря уже о подлинной демократизации) толкает национальные меньшинства на борьбу за независимость. Александр, будучи относительно последовательным в своей программе, издал ряд законов, облегчающих участь некоторых национальных меньшинств, в том числе и евреев. С другой стороны, политика Горбачева была с самого начала враждебной по отношению к нерусским. Особенно это заметно по Среднеазиатским республикам, где коррупция в период Брежнева стала тотальной.

В 1863 году, несмотря на мягкую политику Александра по отношению к меньшинствам и его либеральный дух, в Польше произошло восстание. Этот факт, усугубленный появлением в России радикальных групп, был использован консерваторами для разжигания русского шовинизма и дискредитации либералов, симпатизировавших польским революционерам.

Судить о влиянии горбачевских реформ на национальную проблему в России пока что рано. Но беспорядки в Алма-Ате в декабре 1986 года, демонстрации Крымских татар в Москве и демонстрации в прибалтийских республиках в 1987 году уже находятся в конфликте с «гласностью», которая в общем была предназначена только для русских. Активизация шовинистического общества «Память» в 1987, также создала серьезную опасность.

ОПАСНОСТЬ НОМЕР ТРИ: РАДИКАЛЫ

Как уже говорилось выше, господствующий класс в обоих случаях встретил реформу в штыки. Вместе с тем радикаль-

ные элементы, недовольные ограниченностью реформ, нападают на центральную власть, требуя более решительных действий. Для консерваторов это удобный момент для наступления на реформы. Крестьянская реформа Александра подверглась критике почти сразу после ее объявления: в России ее самыми яркими критиками были Чернышевский и Добролюбов, а за границей — Герцен с его «Колокол».

Новый политический климат страны толкал радикалов еще дальше — к созданию тайных организаций, задавшихся целью свергнуть царский режим революционным путем. Это обстоятельство, естественно, усиливало роль консервативных сил в правящей верхушке страны. Уже в 1861-1862 годах в России возникло тайное общество, называющее себя «Земля и воля», — олицетворение продолжительной политической борьбы, которую вели радикалы против правительства Александра II.

НЕУДАЧИ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ

Последующие события в России совсем не способствовали реформам. Первый удар был нанесен Польским восстанием, второй — террористической акцией Дмитрия Каракозова, покушавшегося на царя в 1866 г. Консерваторы немедленно воспользовались этим, свалив всю ответственность на молодое поколение. Им удалось сместить Александра Головина — либерала, министра общественного образования и свести на нет многие его нововведения.

Та же участь постигла земства и суды, где вопреки духу и букве реформы, была немедленно усилена роль центральной бюрократии. Постепенно уменьшилась и свобода печати. Начавшись в Петербурге, волна реакции прокатилась по всей стране. Царский двор опять превратился в оплот бездарности и посредственности.

В конце семидесятых годов либеральная прослойка Петербургского истеблишмента предприняла попытку контр-наступления. Граф Михаил Лорис-Меликов уже собрался

претворить в жизнь ряд либеральных идей (хотя и воспринятых Александром без особого энтузиазма), когда гибель царя от рук революционеров, членов народовольческой организации «Земля и воля», послужила поводом для наступления реакции при Александре III. Дальнейшее развитие событий привело к Февральской, затем к Октябрьской революции и наконец к возникновению советского строя.

НЕОБРАТИМЫ ЛИ РЕФОРМЫ.

Русская история учит, что судьба любой демократической реформы в обществе, основанном на политической монополии, крайне неустойчива. «Гласность» может стать необратимой только при создании демократических институтов, не зависящих от центральной власти. Внутренняя политика Горбачева со многих точек зрения еще более уязвима, чем политика Александра в первый период его царствования.

Александр, начавший с отмены крепостничества (Ден Сяо-Пин тоже начал с того, что распустил китайские коммуны), и проведя другие реформы, кардинально преобразившие Россию, сделал восстановление прежнего режима невозможным. Следствием его политики было почти немедленное усиление буржуазии, а вместе с ней и частной собственности. Собственность эта, не подлежащая контролю центральной политической власти, легла в основу буржуазной демократии и политических свобод. Растущая экономическая роль буржуазии исключала возможность восстановления прежнего влияния дворянства и бюрократии даже в наиболее суровый период «контрреформ» Александра III.

Сегодня даже в самых оптимистических прогнозах не утверждается, что реформы в СССР «произведут на свет» класс реально независимых в экономическом отношении людей, которые могли бы стать социальным базисом для демократических преобразований.

Практически в настоящее время имеется две группы, кровно заинтересованные в реализации Горбачевской программы: большая часть творческой интеллигенции, особенно молодое поколение (оно было и в первом эшелоне сторонников реформ Александра II), а также люди из разных слоев общества с сильно выраженной профессиональной ответственностью, которые удручены пренебрежением в стране к тяжелой и честной работе.

В середине 80-х годов процент что называется добросовестных работников не превышал одной трети всех труженников в СССР.* Им противостоит большинство, которое тем или другим путем выгадало от брежневской эпохи.

При Александре ситуация была другая. Большинство населения поддерживало реформы. При всей непоследовательности они породили такие политические институты, как земство и городская дума, обладавших достаточной независимостью, чтобы выдержать реакционный напор «контрреформ» и остаться при этом очагами либеральной мысли в стране.

Ничего подобного в СССР не наблюдается. Видимо, как я уже отметил, Горбачев понимает важность создания институтов, могущих обуздать партийную и государственную монополию; но ни «фонды», ни «профсоюзы», ни всевозможные «советы», возникшие в последнее время, даже отдаленно не напоминают те силы, которые были приведены в действие Александром.

Конечно, исторические аналогии не дают возможности для абсолютно верных предсказаний. Кроме извечных циклических процессов, течение истории и ее долгосрочные тенденции определяются и техническим, экономическим и международным положением. СССР середины 1980-х годов сильно отличается от России 60-х годов прошлого века. Но если уроки истории имеют хоть какую-то ценность, то мне трудно с оптимизмом смотреть на будущее горбачевских реформ.

* Т.Заславская. «Человеческий фактор развития экономики и социальная справедливость», Коммунист № 3, 1986, стр. 62.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ТЕАТР АБСУРДА

Комедийно-философское повествование о моих двух эмиграциях. Опыт антимемуаров

СОДЕРЖАНИЕ:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я

Нью-Йорк; Правительство в изгнании; Шинау; Израиль; Бейт-Бродецкий; Рувен Веритас и другие; Снова Нью-Йорк; "Свободный мир"; Мой иностранный паспорт; Дядя Сол; Под знойным солнцем Тель-Авива; Что нужно бедному еврею?; Дом, в котором я жил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАЛП "АВРОРЫ"

Инженер Сэм Житницкий: "Оплот Израиля"; Мы жили... Мы ждали; Судьбоносный день; Сага о черемухе

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАХМАНИ, 62

Мой Атлантик-Сити; Лорд Шацман и его персонал; Про Мейерхольда и Ворошилова; Странная штука — жизнь; Лефортовская Одиссея; Ленин-Бланк и наша эмиграция; Мать и мачеха; Пир победителей; Облака плывут, облака

Книгу можно заказать в редакции "Время и мы":

**"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605. USA
Tel.: (201)592-6155**

Цена книги 10 долларов.
В книге 254 стр.



Иосиф ЛИЩИНСКИЙ

ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ ПРОТИВ ИВАНА ДЕМЯНЮКА

Во время любого процесса над нацистскими преступниками нас обычно не оставляет одна и та же мысль: неужели человеческие существа были способны совершить такое с другими людьми? Кто они — нормальные люди или чудовища, отобранные судьбой для чудовищного дела? Как же они спят с женами? Как ласкают детей? О чем говорят с друзьями?

В суде над Иваном (Джоном) Демянюком этот мучительный философский вопрос приобрел банальную юридическую форму и стал главным предметом судебного разбирательства. Тот ли это человек? Действительно ли у входа в газовые камеры Треблинки стоял этот широкий в кости, видимо, очень сильный украинец, с могучей шеей, работал, не покладая рук, а работы было много, орудовал, как умел, плоским штыком или обрезком железной трубы, чтобы в камерах поместилось больше народа. Запирал толстые двери. Потом включал подсоединенный к камере дизель, снятый

с танка. Тогда можно было и перекурить, вопли «Шма Израэль!» из-за дверей никого не смущали.

Так он ли это?

Если бы кинорежиссер подыскивал подходящего актера на роль персонажа, о котором до самого конца зритель не будет знать, он убийца или нет, то лучшей внешности, чем у Демянюка и вообразить нельзя. Лицо человека малоразвитого (Иван Демянюк не раз напоминал: «Все мое образование — 4 класса»), но какого-либо предубеждения его облик не вызывает. Каким бы ни было образование Демянюка, он понятлив, сообразителен, хорошо владеет собой. И уж если ему есть что скрывать, то он не выдал себя случайным словом или жестом. Да и дело его тянется уже одиннадцать лет. Можно было успеть привыкнуть. Но в остальном он и выглядит, и ведет себя так, как и положено человеку, которому на роду написано быть либо трактористом на Украине, либо автомехаником в Огайо.

Дело Демянюка — за всю сорокалетнюю историю Израиля второй случай практического применения закона «О свершении правосудия над нацистами и их пособниками». Первым было знаменитое дело Адольфа Эйхмана, руководителя «еврейского отдела» в Гестапо.

Уже многие десятилетия в израильской полиции существует и действует отдел расследования нацистских преступлений. Но, в основном, он ведет расследования по просьбе и заказу из других стран, главным образом, ФРГ. Откуда же это желание еще раз провести антинацистский процесс в Иерусалиме?

Не было ли оно неосознанным проявлением атмосферы «весь мир против нас», которая так характерна для периода правления второго правительства Менахема Бегина (1981-83)?

Это предположение, которое, как понимает читатель, ни доказать, ни опровергнуть невозможно, разумеется, никак не связано с делом Демянюка по существу и само по себе не ставит под сомнение результаты, добытые следствием.

Мельницы правосудия, как гласит пословица, мелют медленно. Это относится в равной мере и к Израилю, и к США. К тому времени, когда все американские кассационные инстанции закончили рассматривать постановление о выдаче Ивана Демянюка, наступил 1986 год, и настроения в Израиле изменились.

И вот в феврале 1986 года мы увидели Демянюка на трапе самолета, доставившего его в аэропорт имени Бен-Гуриона в Лоде. Американские маршалы снимают с него свои наручники, израильский полицейский комиссар Алекс Иш-Шалом произносит формулу ареста, предъявляет судебный ордер и надевает на арестованного свои наручники. Они спускаются по трапу. На последней ступеньке Демянюк задерживается и говорит что-то полицейским. Они слушают его, а затем с полминуты говорят друг с другом и, в конце концов, Алекс Иш-Шалом отрицательно качает головой. Позже мы узнали, что арестованный просил позволить ему поцеловать Святую землю. Темносиний полицейский фургон ждет их в 30 метрах. Все подымаются в него. Ивана Демянюка увозят в тюрьму Аялон. На другой день специально созданная для этого группа начинает расследование, а израильтяне задают друг другу и еще чаще самим себе один и тот же вопрос: «Зачем нам все это надо?»

Станный вопрос, непонятный вопрос, в конечном счете, аморальный вопрос. Зачем нужны правосудие и справедливость? Почему преступник должен понести заслуженное наказание, а подозреваемый оправдан, если обвинения против него окажутся неосновательными? Неужели истина не является ценностью сама по себе?

«Зачем на все это надо?» В частных разговорах этот вопрос произносится в этой самой форме. Возможного преступника мы увидели в облике ничем не примечательного, такого реального и такого нормального для нас человека, а те, кто были убиты в Треблинке, Освенциме или Бабьем Яру, находятся ныне в какой-то исторической дали. Они часть национальной легенды, очень жесткой ее части, но легенды.

И можно назвать момент, когда в Израиле перестали сомневаться в смысле этого судебного процесса или выискивать его полезные стороны. Это произошло, когда начались показания свидетелей Треблинки. Национальная легенда вдруг стала живой и осязаемой, страдание несомненным и пронзительным.

История вновь стала частью сегодняшней жизни. Вот тогда с раннего утра начали выстраиваться очереди перед зданием, где происходит суд. Рядом с судебным залом оборудовали еще один зал, где за ходом разбирательства можно было следить на огромном телеэкране. И там яблоку упасть негде было. На втором канале израильского телевидения, который пока ведет только опытные передачи, решили, что нет лучшей возможности отработать эти опыты, чем транслировать суд на Демянюком.

Та молодежь, которой предназначали этот суд в качестве урока национального воспитания, которая в большей или меньшей степени получает эти уроки в школе или в армии и, скорее всего, остается вполне равнодушна к ним, повалила в зал толпами. Не ради уникального зрелища и не ради детективного интереса, хотя в деле Демянюка он играет определенную роль. Ради возможности прикоснуться к истории.

В ЗАЛЕ СУДА

8 часов 30 минут утра. Судебный служащий, немолодой и не слишком представительный еврей, явно волнуется. И в суде он работает давно, и этот процесс тянется неделя за неделей и месяц за месяцем, но он волнуется. Ведь он стал почти телевизионной звездой. Служащий подходит к микрофону на стойке, надевает поверх ермолки форменно и телекамер; когда разбирательство уходит в техническую-то знак и тогда он кричит в микрофон: «Суд идет».*

Судьи занимают места за столом в середине сцены. У них кресла с высокими спинками, сзади на стене герб Израиля.

*Так в печатном тексте. Д. Т.

Обычно иерусалимский окружной суд заседает в своем здании на улице Саладина. Но там залы небольшие, человек на 50-60. Для этого процесса сняли один из залов в центре города. И этот зал не слишком велик, примерно 350 мест. Рядом комнаты судей, помещения для переводчиков, телефонный узел для журналистов. Журналистам отвели балкон. В интересные периоды процесса там три десятка кино- и телекамер; когда разбирательство уходит в технические детали, на балконе остается два-три фотографа, которые не теряют надежды сделать сенсационный снимок.

Обвиняемого каждое утро привозят из тюрьмы Аялон, а вечером отвозят обратно. Но у него есть комната и рядом с залом, чтобы отдохнуть в перерыве. Никаких острых предметов, стол, стулья и койка прикреплены к полу, напряжение в электрической сети — 24 вольта. Впрочем, Демянюк не похож на человека, который покончит с собой.

Особый состав суда возглавляет член Верховного суда Израиля Дов Левин. Ему 62 года. Родился в Тель-Авиве. В годы британского мандата в Палестине был в самой экстремистской еврейской национальной организации «Лежи». Участвовал в войне за Независимость. Его семья живет в Эрец-Исраэль уже в течение пяти поколений.

Дов Левин очень внимателен, очень терпелив и, кажется, неутомим. Помнит номер каждой бумаги, приобщенной к делу. Часто предлагает обвинителю или защитнику свою формулировку только что заданного вопроса. Трудно усомниться в том, что он был бы хорош и в той, и в другой роли.

Всякая театральность ему явно претит. Один из свидетелей истории, директор музея Яд-Вашем доктор Арад, рассказывая что-то о работе, которую выполнял персонал Треблинки, вдруг остановился. «Я прошу прощения, что я называю то, что делали в Треблинке, работой», — сказал он.

— Мы все время заняты очень жестокими вещами. Будет лучше, если мы будем пользоваться именно такими простыми словами, — ответил ему судья Левин.

Зато услышав от адвоката О'Коннора в четвертый или пя-

тый раз подряд выражение «эти убийцы, эти кровавые мясники», Левин не сдержался: «Суд не нуждается в этих характеристиках каждый раз, когда уважаемый защитник задает вопрос свидетелю».

О'Коннор, очень чуткий к аудитории и в зале, и за судебным столом, тут же изменил стиль.

Судья Цви Таль родился в Польше в 1927 году. В 1935 году его привезли в Палестину. Он религиозный еврей, учился в иешиве, хорошо знает идиш. Можно ощутить какое-то различие между судьей Талем и урожденным израильтянином Левиным.

Когда защитник Демянюка Марк О'Коннор, говоря о голоде на Украине в начале 30-х годов, употребил ивритское слово «шоа», которое обычно относят только к уничтожению евреев нацистами (он так и вставил его в английскую фразу — «шоа»), то судья Левин удивился. «Впрочем, пользуйтесь теми словами, какими хотите», — добавил он.

— Я не спорю с председателем суда, но, по-моему, уважаемый защитник допустил бестактность, — неожиданно заявил судья Таль.

Третий член суда Далия Дорнер. Родилась в 1934 году в Турции и приехала в Эрец-Исраэль ребенком. Многие годы служила в военной судебной системе, а последние восемь лет судья иерусалимского окружного суда.

Слева от судей стол обвинения. Обвинение возглавляет Иона Блатман. Государственный прокурор, 58 лет, уроженец Иерусалима. Он вел допрос нескольких свидетелей и самого обвиняемого, но основной груз этой работы пал на другого обвинителя Михаэля Шакеда. Ему немногим за сорок. Он владеет не только ивритом и английским, но и немецким языком, что для данного дела вещь немаловажная.

За столом обвинения почти на всех заседаниях находится большая фотография макета Треблинки. Макет был сделан в музее кибуца «Лахомей хагетаот» («Бойцы гетто») по описанию Янкеля Верника, узника одной из еврейских рабочих команд. Опытный плотник, он был необходим немцам, поль-

зовался относительной свободой и хорошо знал устройство лагеря.

Справа от судей — защита. До середины июля ее возглавлял Марк О'Коннор, адвокат из Буффало, штат Нью-Йорк. Он вел дело Демянюка с 1982 года, но это первое уголовное дело в его юридической практике. Надо сказать, что поначалу Марк О'Коннор произвел на израильскую публику прекрасное впечатление. Как-никак человек вырос в традициях суда присяжных, а не израильского судопроизводства, где дело решает старый опытный судья, — его эффектами не удивишь и на мякине не поведешь.

О'Коннор — молодой, спортивный, подтянутый, не по-израильски элегантный, готовый каждую секунду вскочить на ноги и заявить: «Я протестую, ваша честь». Дело знает прекрасно. Говорит отчетливо. Словом, просто персонаж из телевизионной серии про адвокатскую контору.

В довершение образа, к нему в Иерусалим приехала семья — миловидная жена, очаровательные подростки-дети, тоже очень элегантные. В зале они что-то писали в свои блокноты, а в дни свободные от заседаний всей семьей гуляли по улицам. Но как-то довольно быстро этот рекламный глянец потускнел. Красноречие оказалось утомительным многословием. После каждого вопроса свидетель недоумевал, о чем, собственно, его спрашивают. Без вмешательства судьи Левина во многих случаях вообще никаких ответов не было бы. Да и нельзя все допросы очевидцев строить на том, что их память через 45 лет, после всего, что они пережили, уже не так свежа. Нельзя в который раз выяснить, в какой мере свидетель знает украинский язык, чтобы отличить его от польского и русского, и почему он так уверен, что люди в черных мундирах были украинцы, а не немцы-«фольксдойчи». Ведь тогда, в 1942 году, никто не делал из этого тайны, а умение различать языки — самое элементарное дело в многоязычной ситуации, которую американец О'Коннор, по-видимому, просто плохо себе представляет.

В Израиле Марк О'Коннор нашел себе помощника — не слишком знаменитого, но все же известного адвоката Йорама Шефтеля. Он хорошо ориентируется в израильском процессе, он отлично знает и иврит, и английский, и, кажется, немного русский, и, конечно, идиш.

Найти израильского адвоката, готового принять участие в защите Ивана Демянюка, было не просто. Приняв предложение О'Коннора, Шефтель во множестве интервью в газетах и по телевидению заявил, что он убежден в невиновности обвиняемого, что никаких драм между еврейской совестью и профессиональным долгом у него нет. А если возникнут? Ну, тогда увидим.

Отношения между О'Коннором и Шефтелем с самого начала суда явно не идеальные. Это можно было заметить даже из зала. И вот в начале июля, во время месячного перерыва, отпущенного на подготовку к защите, суд получает письмо о том, что обвиняемый решил отказаться от услуг Марка О'Коннора в качестве защитника. На данном этапе процесса такое решение обвиняемого должно быть одобрено судом. Йорам Шефтель и еще один американский адвокат, специалист по документам Джон Гиль, продолжают вести защиту.

Семья Демянюка говорит о скандальном поведении О'Коннора. О'Коннор обещает сделать сенсационные разоблачения интриг, которые ведет Йорам Шефтель. «Вместе с тем, — говорит О'Коннор, — я не сделаю ничего, что может повредить интересам Демянюка». По-видимому, если мы и услышим эти сенсационные разоблачения, то это произойдет после вынесения приговора.

О'Коннор по-прежнему приходит в судебный зал и, как и прежде, сидя среди публики, пишет что-то в большом желтом блокноте. Что это — будущая книга? Статья о талантливом интригане и бездарном защитнике Шефтеле? Полная правда о деле Демянюка?

А где же сам обвиняемый? Он сидит, как и полагается, за спинами своих защитников, безмолвный, непроницае-

мый, невозмутимый. С двух сторон израильские полицейские, а рядом с Демянюком переводчик, который специально для него переводит все на украинский.

Чувствуется ли в зале ненависть к обвиняемому? И другой вопрос — есть ли в этом процессе какой-то антиукраинский оттенок?

— Слово «украинец» здесь произносится слишком легко и просто, — пожаловался кто-то из группы американских украинцев, приехавших в Иерусалим специально, чтобы посмотреть, как ведется суд. Человеку, выросшему в Советском Союзе, нетрудно ощутить здесь такую знакомую нам, евреям, боязнь коллективной национальной ответственности. Этот страх неоснователен. В Израиле определение человека по национальности или по месту рождения — дело обычное. Это констатация факта, лишённая эмоциональной или моральной оценки. В одном из первых документов о Треблинке, отчете польского следователя Здзислава Лукашевича, составленном в конце 1945 года, точно также просто говорится «немцы, украинцы, литовцы».

«У входа в (газовые) камеры обычно стояло несколько украинцев с собаками, которые самым жестоким образом загоняли жертвы вовнутрь и нередко ранили их ради своего удовольствия». Этот отчет помещен в 3-ем (дополнительном) томе материалов «Нюрнбергский процесс. Преступления против человечности» (Изд. «Юридическая литература». М. 1966. стр. 284-293). К слову «украинцы» составители дали сноску: «Из числа изменников, перешедших на службу к нацистским палачам». Но к словам «немцы» и «литовцы» пояснений нет, а ведь и там можно было бы пояснить.

Правда, в начале суда один довольно известный в израильской общественной жизни деятель, чудом уцелевший маленьким мальчиком в Польше в годы войны, увидев в зале украинского православного епископа из Нью-Йорка, сказал корреспонденту газеты: «Мне тяжело видеть здесь украинского священника. Я помню, как они вели себя по отношению к евреям».

Странные слова, не подходящие этому умному и тонкому человеку. Когда первое заседание кончилось, уже в перерыве к сцене бросился какой-то пожилой человек. Он кричал, что сам прошел через лагерь смерти, что там погибла его семья и что «все они такие». Ни у кого не хватило духу остановить его, и полиция не сразу вывела его из зала. Но это были исключения, редчайшие случаи.

Как уже говорилось, сам Иван Демянюк не вызывает у публики неприязни. В его манере вести себя есть даже что-то располагающее. Так что наибольшую антипатию израильтяне чувствуют к защитнику Йораму Шефтелю. «Но почему же все-таки еврей должен вести защиту в таком деле?» — нередко слышится вопрос. А тут еще — как на нее не посмотри — сомнительная и неэстетичная история с увольнением Марка О'Коннора. Так что дело Демянюка, вероятно, принесет Шефтелю известность, но не доброе имя.

* * *

Смертная казнь — вот наказание, которое предусматривает закон о свершении правосудия над нацистами и их пособниками. Это не единственный пункт нашего уголовного законодательства, который предусматривает смертную казнь, но это единственный случай, когда смертный приговор был и вынесен, и приведен в исполнение.

Должна ли быть в Израиле смертная казнь? Это одна из тех непрерывных, поистине вечных дискуссий, которые ведутся в Израиле. Она стоит на втором месте, сразу же вслед за спором: «Отдавать ли арабам территории, занятые в 1967 году и если отдавать, то какие».

Голоса за смертную казнь мы слышим всякий раз после еще одного особенно страшного убийства, совершенного террористами. И даже некоторые наши либералы согласны: «Что поделаешь? Без смертной казни нам не обойтись. Неприятно, но необходимо». А потом разговор снова утихает, до следующего потрясения.

Но на этот раз его как-то не касаются даже в частных разговорах. Мне трудно чем бы то ни было подтвердить ощущение, что Израиль боится этой мысли, этой возможности и что смертная казнь сегодня ему не по силам. Столько лет прошло без нее, и мы поняли, какое это счастье быть народом, именем которого не совершается судебное убийство.

Судья Дов Левин, воспринимая эти ощущения, а скорее всего просто потому, что он думает и не может не думать об этом, однажды, услышав очередную декламацию Марка О'Коннора, что его задача спасти своего клиента от петли, заметил: «А кто сказал вам, что если подсудимый будет признан виновным, его обязательно казнят? Наказание может быть и другим».

Это очень в стиле Дова Левина, которого, конечно же, шокирует самое предположение, что в деле Демянюка что-то решается за пределами судебного зала и его судебного кабинета.

ДВЕ БИОГРАФИИ ИВАНА ДЕМЯНЮКА

Более двух лет назад французский журналист, кинодокументалист и писатель Клод Ланцман закончил тянущуюся многие годы работу над документальным фильмом «Шоа». Девять часов продолжается этот фильм, и такая его продолжительность — менее всего художественная необходимость. Любой профессиональный редактор и монтажер довел бы фильм до удобных прокатных размеров. Но фильм этот, во всех своих нестандартных свойствах, — гораздо больше исполнение морального долга и автором и зрителем, чем создание и постижение кинопроизведения. В этом смысле работа Ланцмана как раз близка к судебному процессу, который также, по преимуществу, выполнение морального обязательства.

Треблинка — те 13 гектаров среди редколесья на востоке Польши, — где нашли смерть 850 тысяч человек — занимает в фильме «Шоа» почти главное место. Каким-то

путем Ланцману удалось провести долгий разговор и снять его с помощью скрытой видеокамеры с начальником немецкой полиции в оккупированном Люблинском округе Михельсоном.

— Треблинка, — сказал Михельсон, — была поточной линией смерти, надежной, но неусовершенствованной. И он еще раз с каким-то удовольствием повторил: «Надежной, но неусовершенствованной».

Неусовершенство Треблинки состояло прежде всего в том, что доставленные туда в вагонах жертвы уже на железнодорожной платформе понимали, что смерть неизбежна и очень близка. Что еще могли подумать люди, когда им приказывали раздеваться на январском холоде здесь же, рядом с путями, и заставляли бегом относить охапки одежды на склад? От момента прибытия транспортов в Треблинку до гибели проходил примерно один час.

Все это превращало службу в Треблинке в ад. Михельсон рассказывает, что он старался и не бывать в этом страшном месте. Немцам был необходим персонал, с которым они могли бы не считаться. В Треблинке и других лагерях смерти в Восточной Польше — Собибор и Бельжец было всего лишь примерно по 30 эсэсовцев-немцев, но по 100 эсэсовцев из вспомогательных сил — завербованных советских пленных. В Треблинке были и еврейские «рабочие» команды. Они занимались уборкой территории, сортировкой одежды, чистили вагоны, они стригли обреченных, извлекали тела из газовых камер и хоронили трупы, а позже уничтожали их.

Еврейских рабочих было около тысячи. Жизнь каждого из них могла оборваться в любой момент. Был даже такой порядок: эсэсовец ударом хлыста нагайки делал метку на лице провинившегося или просто не понравившегося ему еврея из рабочей команды и в тот же день его расстреливали.

2 августа 1943 года группа рабочих восстала. Самым серьезным результатом восстания был побег части узников, что

вовсе не означало, что они найдут людей, готовых укрыть их и помочь им. Считают, что из этих беглецов уцелело около 80 человек. Они-то и являются главным источником сведений о лагере Треблинка, они опознали Ивана Демянюка по фотографии из его удостоверения вспомогательных сил СС, они были свидетелями на суде в Иерусалиме.

Это было тяжкое испытание — хотя бы выслушать эти свидетельства, но сейчас я не могу собраться с силами и пересказать их. В соответствии с обвинительным заключением, главной обязанностью Демянюка было заталкивать обреченных в газовые камеры и включать мотор, выхлопные газы которого поступали внутрь. Но кроме того, даже сухое перечисление его преступлений занимает в этом документе почти пять машинописных страниц. Мучения, которым он подвергал некоторых из тех, кто и так должен был умереть через несколько минут. Евреев из рабочих команд он «отмечал», отрубая им ухо или нос. Он пытал и казнил беглецов и забивал плетью насмерть провинившихся.

И вот пункт 76 обвинительного заключения:

«За особую жестокость обвиняемый получил прозвище «Иван Грозный». Это единственное имя, под которым обвиняемый был известен многим узникам лагеря смерти» (Обвинительное заключение по уголовному делу 373 (86, стр. 13).

В том, что «Иван Грозный» существовал, никто не сомневается. Но является ли «Иван Грозный» и Иван Демянюк одним и тем же человеком или это разные люди? Это основной момент всего судебного разбирательства.

Доказательства обвинения можно разделить на две категории: во-первых, это показания свидетелей, которые своими глазами видели «Ивана Грозного» в Треблинке и узнали его, увидев фотографию Ивана Демянюка. По сути, так же устанавливается личность преступника в сотнях и тысячах других уголовных дел, но очень редко между моментом преступления и опознанием проходит 35 лет.

Во-вторых, это немецкое служебное удостоверение сол-

дата — «вахмана» вспомогательных сил СС на имя Ивана Демянюка. Оно выдано в учебном лагере Травники в Люблинском округе Польши.

И вот обвинение, а, с другой стороны, сам обвиняемый и его защита предлагают нам две версии биографии Ивана Демянюка.

Он родился 3 апреля 1920 года в селе Дуб-Макаренцы Казатинского района, на Украине. Учился в сельской школе, потом был помощником тракториста. Зимой 1940-41 года призван в Красную Армию. После нападения Германии на Советский Союз Демянюк ранен на фронте осколком в спину. Осень он проводит в госпиталях, а в конце 1941 года вновь в боевой части в Крыму. Там, под Керчью, он взят в плен в мае 1942 года. Затем его переводят в лагерь для советских военнопленных под Ровно, в Западной Украине.

До этого момента версия обвинения и версия защиты идут почти нога в ногу (о небольших расхождениях между ними речь впереди). Различия возникают дальше. Обвинение: После прибытия в лагерь в Ровно, летом 1942 года. Демянюк вступает во вспомогательные войска СС. Он приезжает в учебный лагерь Травники, в Польши. Подготовка там длится недолго: оформление документов, обучение немецким командам и обращению с немецким оружием. Затем до сентября 1943 года служба, в основном, в лагере смерти Треблинка и краткое время — в лагере смерти Собибор.

О том, что происходило с Демянюком после того, как Треблинка и Собибор были ликвидированы самими нацистами (в строй вступил более «совершенный» Освенцим) и до капитуляции в мае 1945 года, обвинение, видимо, не имеет надежных данных. Но в 1945 году мы видим Демянюка в лагере для перемещенных лиц в Регенсбурге, в американской зоне оккупации в Германии. Звучат названия баварских городов — Ландсхут, Ульм. Демянюк работает шофером для американской армии. Он женится, в Ульме родилась его старшая дочь. Демянюки ждут ответа на свою просьбу о въезде в США. И вот в 1951 году получено разре-

шение от иммиграционных властей. Нью-Йорк, Кливленд.

Биографическая версия обвиняемого и защита — это алиби Демянюка. (Алиби на латыни означает «другое место», «я был в другом месте»).

После лагеря для военнопленных возле Ровно другой лагерь близ города Хелма, 18 месяцев в страшных, бесчеловечных условиях. Как относились немцы к советским пленным, всем известно.

— Если бы мне сказали, хочешь, накормим тебя досыта, а потом расстреляем, я согласился бы, не раздумывая, — рассказывает Демянюк. Спали на нарах, в три яруса, без матрацев, укрывшись шинелями. Весь 1943 год пленные копали торф.

Весной 1944 года пленных неожиданно выстраивают, отбирают молодых украинцев и увозят в какое-то имение возле Граца, в Австрии. Им выдают военную форму итальянской армии. Делают анализ крови и группу крови указывают татуировкой на руке, под мышкой. Видимо, их собираются зачислить в украинскую дивизию, сражавшуюся на стороне Германии.

Но через несколько дней недавних пленных перевозят в другое место — Гойхберг. Теперь Демянюк и другие украинцы включены в РОА — Русскую освободительную армию, армию генерала Власова.

А далее снова — лагерь перемещенных лиц в Регенсбурге. Продолжение мы уже знаем.

Кстати, находясь в РОА, Демянюк, по его собственным словам, удаляет татуировку с группой крови. «Мне сказали, — объясняет он, — что такую татуировку делают эсэсовцам. Все удаляли татуировки, ну и я тоже». Следы стертой чем-то татуировки видны по сей день.

В момент, когда пишутся эти строки, это алиби подтвердил лишь один свидетель, но свидетель важный — сам Иван Демянюк. Он имел право отказаться от дачи показаний. Судья предупредил его о таком праве и, в соответствии с законом, объяснил, что отказ от дачи показаний мо-

жет быть истолкован обвинением против ответчика.

— Когда мой отец даст свои показания, все узнают истинную историю Ивана Демянюка. — сказал его сын Джон Демянюк-младший накануне допроса обвиняемого.

Допрос продолжался семь полных дней и, без сомнения, это были самые напряженные и драматические дни суда.

— Я никогда не был в Треблинке, я никогда не был в Собиборе, я не был в Травниках. Я никогда не служил в войсках СС, я никогда в жизни не убил человека, — за семь дней Демянюк, наверно, десятки раз повторил эту фразу. К месту и не к месту. Почти всегда все лагеря — два лагеря смерти и третий — учебный лагерь — он называет вместе. Иногда добавляет: «Чтобы вы там ни говорили, я-то знаю, что было на самом деле».

Эта фраза должна заменить сложное объяснение, дать которое нелегко. Обвинители и Иона Блатан, и Михаэль Шакед, видимо, не один месяц готовились к этому допросу. Демянюк слишком много рассказывал о своей жизни и после того, как одиннадцать лет назад возникли первые подозрения против него, и до этого, когда «дела Демянюка» не было и в помине.

Так, вскоре после войны, в лагере для перемещенных лиц оформляются документы, которые должны избавить Демянюка от принудительной репатриации в СССР. Он убежден, в Советском Союзе за сдачу в плен, за службу в армии Власова его ждет жестокая кара. Анкету Демянюка заполняет с его слов чиновник международной организации помощи беженцам. Чиновник знает, что ему говорят неправду. Все это игра, где каждый обязан сыграть свою роль. Анкета должна быть составлена так, чтобы получилось, будто Демянюк еще до начала Второй мировой войны, до 1 сентября 1939 года уехал из СССР и жил в Польше. Позже специальная поправка к американским законам освободила людей от ответственности за эту ложь во имя спасения.

Но все ли в этой анкете ложь? Что-то ведь могло быть и правдой? А что неизбежно должно было быть правдой?

Среди мест, где жил и работал Демянюк в годы войны, он называет Собибор, занятие — шофер в фирме «Авто», заработок — 40 злотых в месяц. Итак, Собибор — то место, где, если верить «документу Травники» Демянюк, действительно, находился. Откуда вообще человек может знать это название — Собибор? Его можно найти только на очень подробных картах.

Не в первый раз Демянюк рассказывает историю о каком-то приятеле по лагерю для перемещенных лиц, галичанине. У него был атлас или карта Польши. Он-то и посоветовал назвать Собибор. Позже, когда возникают первые подозрения, Демянюк, по его словам, сам ищет Собибор на карте.

«Я нашел только Самбор, — говорит он, — ума не приложу, откуда взялся Собибор. Подумайте сами, если бы я был в таком страшном месте, как Собибор, разве я назвал бы его? Я ведь не сумасшедший!»

По вопросам обвинителя можно понять, как он представляет себе биографию Демянюка после ликвидации Треблинки в сентябре 1943 года.

Вслед за Собибором Демянюк назвал в анкете еще одно место, Пилау, портовый городок близ Данцига, ныне Гданьска. Пилау — тоже место не знаменитое. Демянюк говорит, что никогда не был там.

Кто-то (он не помнит точно, кто именно) подсказал ему это название.

Тогда обвинитель напоминает историю Федора Федоренко, служившего в Треблинке. Его история идет параллельно делу Демянюка. Федоренко был выдан Советскому Союзу, осужден и казнен. После Треблинки Федоренко и многие другие несли службу в концлагере Штутгоф, возле Пилау. Является ли запись о Пилау в анкете Демянюка ложной?

Биографическая версия, которую предлагает Демянюк на этом процессе, обвинение сравнивает с его показаниями американскому следствию и американским судам. Тогда, 8 или 9 лет назад, Демянюк не упоминал о лагере

для военнопленных в Хелме, где Демянюк, по его словам, был 18 месяцев. Но позже, когда Хелм уже возникает в его показаниях, он ничего не говорит о работе на торфоразработках. Речь идет о строительстве барачков, о разгрузке вагонов, об уборке лагеря. О тяжелой, изнурительной работе, о ежедневных походах по два или три километра до торфяных полей, а вечером — обратно там в Америке не было ни слова.

Мысль обвинения понятна. Версия алиби Демянюка возникла по частям, постепенно, по мере того, как обвиняемый и его защитники выясняли, что знает следствие и какими доказательствами оно располагает. Окончательную форму эта версия обрела совсем недавно, уже после выдачи Демянюка Израилю.

— Да разве человек обязан все помнить?! — говорит Демянюк в какой-то уж очень трудный для него момент. — Я как в Америку приехал, все позабыл. В Америке, знаете, жизнь какая? Хорошая там жизнь. Там быстро все забываешь.

ДИНСТАУСВАЙС № 1393

Наверно, со времени знаменитого «бордеро», главного документа в деле капитана Дрейфуса, ни один документ не отнимал столько времени у суда, как это служебное удостоверение — «динстаусвайс» по-немецки, — номер 1393. Итак, два листика, четыре странички зеленоватого тонкого картона, обычный для такого удостоверения формат, маленькая фотография, заполненные на машинке графы, печати, подписи. Между строчками вписанный от руки перевод с немецкого на русский. Подпись переводчика — Базилевская, дата перевода — 1948 год.

Это удостоверение, если оно подлинное (а об этом и идет великий спор!) выдано в лагере Травники, учебном лагере для того подразделения вспомогательных войск ОС, которое было сформировано из завербованных советских воен-

нопленных. Лагерь Травники хорошо известен историкам. В отчетах генерала Юргена Штропа об уничтожении Варшавского гетто (эти отчеты опубликованы, в частности, в 3-ем дополнительном томе сборника материалов «Нюрнбергский процесс», Москва 1966 г., стр. 258-264) среди «наших сил» названы германская полиция, польская полиция, войска СС и отдельно — травниковцы. «Травники» были, таким образом, и учебным лагерем, и военной частью. Служившего в ней откомандировывали на какое-то задание, затем он возвращался на базу и находился там до следующей командировки. Немцы поручали им грязную работу, тем более, что в отношении боевых качеств травниковцев особых иллюзий не было. Иное дело, сторожевая или конвойная служба, работа в лагерях смерти, сосредоточенных в тот период как раз в Люблинском округе. Лагерь Травники существует почти до прихода Красной Армии, всего через этот лагерь прошло три с половиной — четыре тысячи человек. У них множество разных названий, официальных и неофициальных, и прозвищ. Одно из них довольно презрительное — «оскари». Так называли сформированные из туземцев войска в германской Восточной Африке до Первой мировой войны.

Даже будучи центральным документом процесса, «документ Травники» еще не приводит Ивана Демянюка непосредственно в лагерь смерти Треблинка. Треблинка не названа среди мест, куда владелец «динстаусвайс № 1393» посылается, назван только Собибор.

Итак, служба в Собиборе подтверждена документально, но свидетелей-очевидцев этому нет. О службе Демянюка в Треблинке свидетельствуют очевидцы, но нет документов. Главное же состоит в том, что «документ Травники» (все это, исходя из предположения о его подлинности) разрушает биографическую версию Демянюка и его защиты. Связь Травников, Собибора и Треблинки слишком очевидна.

Все дело Демянюка начинается с «документа Травники». Именно этот документ или данные, содержащиеся в нем,

попадают в отдел расследований иммиграционного управления США. Далее фотография Демянюка посылается в израильскую полицию: не знает ли кто-нибудь этого парня из Собибора? От кого же получило иммиграционное управление США это удостоверение? От советских властей.

В течение десяти лет Советский Союз, так сказать, малыми дозами, как будто сам пугаясь собственной смелости, как бы проверяя, что будет дальше, приоткрывает этот документ.

Сначала американский суд получает фотокопию, на которой попытались скрыть подпись переводчика с немецкого. Потом эксперт Гидеон Эпстайн смог изучить «документ Травники» в здании советского посольства в Вашингтоне. Далее, на следующем судебном процессе, сотрудник советского посольства лично приносит оригинал удостоверения в суд, а на другой день забирает его обратно.

Год назад, в день передачи в иерусалимский окружной суд обвинительного заключения, то есть, когда следствие уже было закончено, я спросил у обвинителя Михаэля Шакеда: «Сотрудничали ли с вами советские следственные органы?»

— Мы-то просили об этом, — ответил он, — но не получили никакого ответа.

И вот в декабре 1986 года, когда до установленной даты начала разбирательства остается несколько недель, в израильское министерство юстиции приносят в конверте из прозрачного плотного пластика «документ Травники».

— Откуда у вас этот документ? — спросил председатель суда у обвинителя Михаэля Шакеда, когда «динстаусвайс № 1393» появился на судебном столе.

— Мне дали его в министерстве юстиции в Иерусалиме, — ответил обвинитель.

— А туда как он попал? — поинтересовался Левин.

— Не знаю, — ответил Шакед, не моргнув глазом.

Это «знаю», — пожалуй, самый серьезный пробел во всей системе доказательств обвинения. Ведь внутри судебного

дела Ивана Демьянюка как бы слушается отдельное, вспомогательное и подчиненное главному, дело о подлинности «документа Травники». Этот документ — второй подсудимый на процессе.

Когда и где он был захвачен? Где хранился? Каков был порядок обработки данных таких бумаг? Почему он был вновь извлечен на свет божий в 1976 году? То, что советский следователь или архивариус не был свидетелем обвинения на этом суде, нормальным свидетелем, превратило изучение «документа Травники» в дело для ученых и экспертов — историков, графологов, специалистов по бумаге, чернилам, клею, знатоков шрифтов, машинописных и типографских.

Нормальный свидетель, сказал я. Человек из советских органов безопасности или даже военной прокуратуры не был бы нормальным свидетелем с первой же секунды своего появления на свидетельской кафедре. Нетрудно представить себе, какие вопросы услышал бы он во время перекрестного допроса. Каковы его обязанности и кто был его начальником? Какая судьба ждала вернувшихся в Советский Союз военнопленных? И что было с принудительно возвращенными власовцами? Как шел допрос и как шел суд, и как насчет гарантий прав обвиняемого? Нет, нет, такого удовольствия защите и публике КГБ доставить, конечно, не мог.

Но все равно призрак этого знаменитого учреждения сопровождает дело Демьянюка с первого и до последнего дня. Образ КГБ, который все знает, все может и все умеет, то и дело возникает на судебных заседаниях, так эффектно отличаясь от образа нацистского механизма осуществления «окончательного решения еврейского вопроса», который не всегда способен справиться со стоящими перед ним задачами, вынужден использовать неподготовленных или ненадежных людей, не знает, как схоронить концы в воду.

— Подделка такого документа, как динстаусвайс на имя Демьянюка, была бы мировой сенсацией, — сказал немец-

кий историк, знаток всего, что связано с учебным лагерем Травники, профессор Вольфганг Шефлер. Он имел в виду соответствие подписей и должностей, воинских званий, которые носили эти люди, и дат, точность печатей.

— Но если человеку дать необходимые бланки, материалы, время на изучение фактов, то сможет ли он воспроизвести такую бумагу, как «документ травники»? — спрашивает один из защитников, давая понять, что и необходимые средства, и подходящие люди уж, конечно, «там» есть в избытке.

Обвинитель Михаэль Шакед протестует.

— Свидетель не обязан отвечать на такие чисто гипотетические вопросы. Может быть, уважаемый защитник подозревает, что «документ Травники» подделал сам профессор Шефлер? — иронически спрашивает обвинитель, намекая, что на свидетельской кафедре находится наилучший специалист в области «травниковедения». Второго такого нет.

Одна из серьезных сложностей для обвинения, связанная с этим документом, состоит в том, что ни историкам, ни следователям до сих пор не было известно другое такое же служебное удостоверение. Его подлинность нельзя было подтвердить сравнением с удостоверением других «травниковцев».

Обвинению потребовался специальный свидетель, служивший в лагере Травники, эсэсовец Гельмут Леонхарт, который должен был подтвердить, что такие служебные удостоверения, как динстаусвайс № 1393, вообще существовали. Непростой проблемой остается вопрос, как произошло, что личный документ, который должен бы находиться в руках у того, на чье имя он выписан, оказался в советских органах безопасности без его владельца. Так где же он был найден — в канцелярии лагеря Травники? В куче мусора? В чистом поле?

Но вот весной этого года корреспондент израильской газеты «Едиот ахоронот» Амнон Копелюк побывал в Москве. Он встретился там, среди прочих, с какой-то работницей

советской прокуратуры.

— «Документ Травники» — уникал? — удивилась она. — У нас много таких же удостоверений.

В начале августа, когда допрос свидетелей обвинения уже закончился и перед судом находилась эксперт по документам со стороны защиты Эдна Робертсон, обвинитель Михаэль Шакед сообщил суду, что получил еще три служебных удостоверения, таких же, как удостоверение на имя Ивана Демянюка.

А теперь взглянем на «документ Травники», на эти четыре маленькие зеленоватые странички или же — если хотите — на огромные, метровые фотографии этого удостоверения, занявшие почти постоянное место на подставке за свидетельским местом. В этом документе, какие бы усилия ни потратило обвинение, чтобы обосновать его подлинность, содержатся и для самого обвинения определенные трудности. Динстаусвайс заставляет усомниться, так ли серьезна легенда о немецкой пунктуальности, точности и порядке.

Имя и фамилия — тут все точно.

Место рождения — село Дуб-Макаренцы, Запорожская область.

Однако, село Дуб-Макаренцы, где действительно родился обвиняемый, находится в Винницкой области, районным центром является Казатин, а какое-то время — Самгородок.

С точки зрения обвинения, эта ошибка лишь подкрепляет доказательства подлинности удостоверения. Во время допроса Демянюка обвинитель Михаэль Шакед высказывает такое предположение. Немец-писарь в лагере Травники не мог уловить на слух незнакомое ему название маленького районного центра Самгородок и написал название большого и известного города Запорожье. Зато, если предположить, что «документ Травники» советская фальшивка, то надо допустить, что выяснив десятки мельчайших деталей, например, звания немецких офицеров, личные приметы Де-

мянюка, не забыв о составе чернил, создатели этого шедевра не проверили самое простое — в какой области находится село Дуб-Макаренцы.

— Вы думаете, что в КГБ так плохо знают географию своей страны? — задал Михаэль Шакед риторический вопрос обвиняемому.

Рост Демянюка 176 сантиметров в соответствии с «документом Травники», а 180 сантиметров на самом деле, и это сейчас, когда с годами человек мог стать только на несколько сантиметров ниже. Свидетельница Хельге Гравиц, прокурор из Гамбурга, которая вела в западногерманском суде процессы по делам полиции Люблинского округа в годы нацистской оккупации, убеждена, что в комнате, где выписывались документы «травниковцам», не было ни весов, ни приспособления для измерения роста. Даже сейчас в Германии рост в документах указывается по личным показаниям, — замечает Хельге Гравиц. — В моем удостоверении личности указано, что мой рост 160 см, а в действительности он равен 158 см.

Стоит ли говорить, что это не совсем тот же случай. Хельге Гравиц как раз в том возрасте, когда она могла потерять два сантиметра.

Зато другая примета — шрам на спине, след ранения в 1941 году — указан точно.

Но, быть может, наибольшие трудности вызывают как раз те данные документа, в которых нельзя подозревать какой-либо случайной ошибки. Динстаусвайс №1393 не имеет даты выдачи. Самая ранняя дата — это день выезда на первое задание — 22 сентября 1942 года.

Когда же он был выдан? Когда, по утверждению обвинения, Демянюк одел черный мундир вспомогательных сил СС? Приблизительно установить этот день несложно. Не позже 19 июля 1942 года. На «документе Травники» рядом с подписью командира лагеря Карла Штрайбла, подпись интенданта Тойфеля, и его звание — СС-ротенфюрер. 19 июля Тойфеля повышают в звании, теперь он обершарфюрер.

Вообще, день 19 июля был особым днем в жизни учебного лагеря Травники. Его посетил рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. За десять дней до этого он побывал в Освенциме. 18 июля Гиммлер летит из Катовиц в Люблин. Встречается с генералом Одилио Глобочником, местным начальником полиции и одновременно командиром СС. Он не только главная фигура в выполнении «операции Рейнгардт». «Дорогой Глабоус», как зовет его Гиммлер в личных письмах, должен создать на востоке Польши германизированный пояс от Балтики до Балкан. Глобочник уже давно жалуется, что ему не хватает людей. Эсэсовцы из вспомогательных сил, эти «оскари», ему необходимы, и Гиммлер находит время лично выяснить положение дела в Травники. В тот же день — 19 июля он отдает приказ: до конца 1943 года «операция Рейнгардт» должна быть выполнена, и все евреи Польши уничтожены.

Лагерь смерти в Трешлинке начинает работать на полную мощность. Его персонал значительно увеличен. 23 июля 1942 года — в траурный день 9 ава по еврейскому календарю начинается в крупных масштабах ликвидация Варшавского гетто.

А теперь посмотрим на биографию Демянюка в месяцы, предшествующие дню 19 июля. Он попал в плен во время германского наступления на Керченском полуострове в мае 1942 года. Наступление на Керчь и ликвидация керченской группировки советских войск были началом летней кампании 42-го года, вероятно, самой страшной для Советского Союза во всей войне, страшнее даже наступления на Москву в октябре 1941 года.

21 мая бои на Керченском полуострове закончились. Остатки керченской группировки переправились на Таманский полуостров. В руки немцев попало около ста тысяч пленных, в том числе и Иван Демянюк. Об этом факте и об этой дате спору нет, поэтому примем ее, как истину.

Но мог ли Демянюк за короткое время — менее двух месяцев — пройти через два лагеря для военнопленных —

один в Крыму, другой возле Ровно в Западной Украине, завербоваться во вспомогательные войска СС, приехать в Травники, пройти необходимые формальности и получить документы?

— Почему обвинение выясняет все эти обстоятельства? Ведь защита не спорит с тем, что Иван Демянюк попал в плен в 1942 году в Крыму? — спросила судья Далия Дорнер во время допроса свидетеля доктора Мати Майзеля, военного историка, специалиста по истории Второй мировой войны,

— Это верно, — ответил главный обвинитель Иона Блатман. — Однако мы не согласны с той хронологией, которую предлагают нам обвиняемый и его защитники.

Обвинение привело в суд нескольких свидетелей-историков, показания которых, не касаясь конкретного случая Ивана Демянюка, должны были подтвердить возможность, более того — вероятность биографической версии, изложенной в обвинительном заключении.

Показания доктора Майзеля (они были так интересны, что, мне кажется, в какой-то момент и судьи, и публика забыли, ради чего собрался суд, и почувствовали себя алчущими знаний студентами) подтверждают: да, Демянюк мог за два месяца перенестись из-под Керчи в лагерь Травники.

Но там, где свидетель говорит о днях, защитники и сам Демянюк в своих показаниях растягивают эти дни в недели. Короткие поездки в поездах — день-два, в соответствии со свидетельством доктора Майзеля, но они превращаются в долгие походы пешком в стиле фильма «Мост через реку Квай» в версии защиты.

— Если под Керчью немцы взяли в плен около ста тысяч советских пленных, каким образом их переправили в лагерь возле Ровно? — спросил защитник доктора Майзеля.

Свидетель: Пленные, в основном, перевозились на поездах.

Защитник: Неужели немецкая армия могла позволить се-

бе роскошь возить пленных в поездах? Неужели немцам нечего было доставлять на поездах для непосредственных нужд армии?

Свидетель: Дело обстоит как раз наоборот. Поезда с грузами для армии прибывали в Крым, а в обратном направлении в тех же вагонах везли пленных. Эвакуация пленных из района, находившегося в непосредственной близости от фронта, была оперативной необходимостью. Держать их в районе боев было небезопасно, к тому же охрана этих пленных отвлекала бы слишком многих солдат из боевых частей.

Защитник: Но вероятно, многих пленных везли туда на грузовиках, а еще большее число пленных просто перегоняли пешком в лагеря на Украине.

Свидетель: И все же, как мы знаем, подавляющее большинство было перевезено на поездах. Немцы не могли откладывать эвакуацию пленных, ни растягивать ее. Таково было их правило.

Что до других экспертов, приглашенных обвинением, то их мнения были однозначны. Подписи командира лагеря Штрайбла и интенданта Тойфеля несомненно подлинные; подпись Демянюка в высокой степени вероятности подлинная. На фотографии нет следов фотомонтажа или ретуши. В бумаге и чернилах не обнаружено никаких веществ, которые употреблялись в производстве после Второй мировой войны. Типографские и машинописные шрифты соответствуют тем, которые были приняты в Германии в конце 30-ых — начале 40-ых годов. Однако нет уверенности, что динстаусвайс Демянюка напечатан на той же машинке, что и другие — бесспорно подлинные — документы из лагеря Травники.

Заканчивая свои показания, прокурор Хельге Гравиц из Гамбурга сказала, что за все годы ведения дел о преступлениях нацистов она не сталкивалась с подделкой документа, присланного из СССР.

Показания экспертов со стороны защиты Эдны Роберт-

сон и Аниты Причард были, даже мягко выражаясь, неубедительными. Хочешь — не хочешь, возникает мысль, что защита Демянюка просто не сумела найти авторитетных специалистов, которые высказали бы мнение, подтверждающее точку зрения защиты.

Так он ли это «Иван Грозный» из Треблинки?

ПРАВДА И ЛОЖЬ В ЛИТЕРАТУРЕ

«Великие писатели никогда не говорят нам, что играть с огнем опасно. Их книги обжигают пальцы». — Так пишет в сборнике литературно-критических статей «Правда и ложь в литературе» английский писатель венгерского происхождения Иштван Визинцей.

Родился Визинцей в Венгрии в 1933 г. Окончил Будапештский университет и Академию киноискусства и театра. Написал несколько пьес по-венгерски, которые были запрещены. В 1956 году с оружием в руках принимал участие в революции на стороне повстанцев. После подавления революции эмигрировал в Канаду, а после переехал в Англию. В 1956 году его лингвистический багаж составлял полсотни английских слов. Ныне Визинцей маститый британский писатель, автор романов «Похвала зрелым женщинам» и «Невинный миллионер». Другой английский писатель, Энтони Берджес, заметил, что британским прозаикам следует учиться у Визинцея английскому языку.

Визинцей не только ценит писателей, чьи книги «обжигают пальцы», но и сам пишет темпераментно и пристрастно. Его литературные симпатии и антипатии вполне определены. Рецензент лондонской «Дейли Телеграф», в общем, положительно оценивая «Правду и ложь в литературе», с досадой отмечает: «Английскому читателю ничего не остается, кроме как сожалеть, что этот несколько гусарский подход к литературе исключает из игры всю английскую прозу XIX века. По мнению Визинцея, викторианские писатели ничего не знали о женщине, а если и знали, то тщательно скрывали это».

Хотя Визинцей пишет по-английски, темперамент у него действительно не английский. Потому он отдает предпочтение французским, немецким, русским классикам. Свои литературные критерии он формулирует так: «Существуют два вида литературы. Один из них помогает постичь, понять, другой — забыть. Первый помогает тебе стать свободным человеком и свободным гражданином, второй — помогает другим манипулировать тобой. Первый можно сравнить с астрономией, второй — с астрологией... Чтение — акт творческий, постоянная работа воображения, благодаря которому мертвые слова на странице обретают плоть, цвет, вкус. И награды и нарекания заставляют писателя лгать, особенно когда дело доходит до секса и политики, очевидно, например, что репутация гениального Диккенса пошатнулась бы в глазах современников, а огромная популярность пошла на убыль, если бы он решился сказать хотя бы слово правды о сексе и перестал угождать банальным филистерским вкусам торговцев».

Жесткие критерии, которым следует Визинцей, обусловлены его жизненным опытом. Произведения классиков и современных писателей он видит не только в художественном, но и в социально-политическом контексте: «Впервые я прочел Диккенса в молодости в коммунистической Венгрии, когда только начал пробовать свои силы как драматург. В стране без стеснения господствовала политическая цензура, но по крайней мере никто не при-

* Stephen Vizinczey, "Truth and lies in Literature", Hamlish Hamilton, London, 1986.

творялся, что литература — дело сугубо литературное. Партийные функционеры и бюрократы в художественных произведениях должны были изображаться самоотверженными борцами за общее благо. У членов ЦК могли быть лишь мелкие недостатки, но не моральные изъяны, например, они могли слишком много курить. Местные партруководители могли по вечерам закладывать за воротничок, ссориться с женой, даже врезать ей разок. Но хотя бы намек, что они превращают жизнь других в ад, просто в силу исполнения служебных обязанностей, представлялся злостной империалистической пропагандой. Агентов службы безопасности, которые по ночам арестовывали людей, в литературе вовсе не существовало. Они появлялись разве что, когда надо было спасти тонущего ребенка или совершить какой-либо другой благородный героический поступок».

Жизненный опыт определяет оптику Визинцея: видеть не только текст, но и жизненное пространство, в котором текст создавался. В связи с выходом книги ведущего английского слависта Роналда Хинли о Пастернаке Визинцей поднимает проблему, о существовании которой средний английский славист или критик даже не подозревает: «Больно читать о финансовых проблемах, с которыми сталкивались Пастернак, его семья, его подруга Ольга Ивинская... Мне кажется, что миланский издатель-марксист Фельтринелли, издавший «Доктора Живаго» и получивший 50 процентов дохода за издание этого романа в других странах, мог бы сделать куда больше, чтобы Пастернак и его наследники получили хотя бы оставшиеся 50 процентов дохода. Я просто не верю, что он не мог договориться с Госбанком СССР, который столь охоч до твердой валюты. Пока «Доктор Живаго» снимал по всему миру жатву, вдова Пастернака бедствовала и побиралась... Между тем, что же случилось с пастернаковскими гонорами, как обстоит дело теперь? Воистину удивительно, что профессор Хинли даже не ставит подобного вопроса. Пастернака проклинали и терзали на Востоке, но ограбили, да, ограбили, на Западе!».

Не менее пристрастно Визинцей пишет о писателях-классиках и об интерпретации их книг. В рецензии на книгу французского писателя Анри Труайя «Гоголь» Визинцей замечает по поводу слов Труайя о том, что Гоголь во всем заходил слишком далеко: «Предмет исследования Труайя — Гоголь, но на самом деле его книга — о теплящем душу, уютном чувстве превосходства, которое испытывают посредством столкновения с феноменом гения. Самая страшная правда про настоящих художников — это то, что они заходят слишком далеко, до края и переступают этот край, тогда как все эти Труайя сего мира ползут с черепашьей скоростью и никак не могут выбраться из трясины собственного непонимания».

Рецензии Визинцея не ограничиваются только литературными темами, должно быть, потому, что литература в его представлении не отгораживается, не замыкается сама на себе. Но жизненный опыт, благодаря которому Визинцей звучит столь убедительно, может иногда сказываться и отрицательно. Эмоции порой затемняют сознание. Страсть не оставляет места для анализа. Вот рассуждения Иштвана Визинцея о том, как венгры воспринимают Россию и русских: «Люди хотели одного: избавиться от русских. В час революции ненависть к русским проявилась в полной мере. И дело тут не только в коммунизме и иностранном господстве, но и в отношении к кириллице, славянскому фольклору, очажкам православия, водочному перегару. Если бы Венгрия была французской колонией, то безусловно венгры ненавидели бы Францию тоже. Но при этом французская культура была бы им близка, отношение венгров к жизни, более или менее, совпадает с отношением к жизни французов. Но с русскими у венгров буквально ничего общего нет. Все, что связано с ними, — глубоко чуждо, вопиюще чужеродно».

Этот абзац — типичный пример явления, которое можно было бы назвать «центрально-европейским синдромом». Суть этого явления можно выразить так: «Да, вы покорили

нас, — рассуждает венгр, поляк, чех, — вы сильнее нас, потому что вас больше и армия у вас сильнее. Но зато мы — культурны, цивилизованы, умны, мы — европейцы, вы же — орда варваров». Причины такого отношения очевидны. Трудно испытывать симпатию к оккупантам. Но писатель, чьи претензии на оригинальность и индивидуализм вполне обоснованы, мог бы отказаться от комфортабельных штампов.

Венгерская культура одинаково чужда и русской и французской, скорее, она испытала влияние турецкое и австрийское. Ну, а быть восточноевропейцем ничуть не зазорней, чем западноевропейцем, а азиатом — не зазорней, чем европейцем. Исключение русских из семьи европейских народов английский эссеист Тимоти Гартон Эш назвал — в полемике с чешским писателем Миланом Кундерой — абсурдным. Впрочем, Иштван Визинцей, судя по его пронзительным замечаниям о творчестве Толстого, Гоголя, Достоевского, Пастернака, Солженицына и отношению к русской литературе, не отталкивается от России. Многие утверждения Визинцея горяздо понятней русскому читателю, чем, к примеру, английскому или французскому. Вот как он определяет роль венгерской поэзии: «Для венгров поэзия — то же самое, что опера для итальянцев. Она адресована каждому, и каждому до нее есть дело. Она — спасительная связь с жизнью. Она заменяет самоопределение, свободные выборы, свободную прессу, свободу слова. Благодаря тому, что к венгерским поэтам прислушивается все общество, венгерская поэзия, по своей природе, универсальна».

Многие выводы и наблюдения Иштвана Визинцея — тоже универсальны. Британские рецензенты, ревностно относящиеся к чужим сборникам литературно-критических статей, не поспешили на похвалы в адрес коллеги. По рецензии в газете «Таймс» можно судить, чем образцовый стилист Иштван Визинцей отличается от многих британских рецензентов: «Верим ли мы еще в то, что существует понятие «ложь»? Или «лжи» больше не существует, а есть лишь

«мнения»? Визинцей знает, что такое тоталитарное общество и потому безошибочно диагностирует политическую ложь как на Западе, так и на Востоке... Но больше всего поражает в его статьях — помимо диапазона и эрудиции автора — органическое переплетение литературы и жизни. Страсть к литературе неотделима от страсти к жизни. Такой и должна быть критика, но как редко она такой бывает».

И. П.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА?

Британский эссеист, специалист по проблемам Восточной Европы Тимоти Гартон Эш опубликовал в американском еженедельнике «Нью-Йорк ревью оф букс» пространное эссе, озаглавленное «Существует ли Центральная Европа?» Речь в этом эссе идет не столько о географии, сколько о культуре и политике. Тимоти Гартон Эш излагает взгляды ведущих интеллектуалов Центральной Европы, полемизирует с ними, делится собственными соображениями. В оппоненты он выбрал чешского драматурга Вацлава Гавела, польского историка и правозащитника Адама Михника, венгерского социолога и романиста Дьёрдя Конрада. Гартон Эш начинает с географических и культурно-политических дефиниций: «Следствием Ялтинской конференции стала жесткая и однозначная дихотомия. Так или иначе Западная Европа приняла эту дихотомию, включив в понятие «Восточная Европа» исторически сложившиеся территории Центральной, Восточной Центральной и Юго-восточной Европы, попавшие под советское господство после 1945 года».

Тимоти Гартон Эш ссылается на книги Гавела, Михника и Конрада, ибо считает, что вопросы, поднятые ими, интересуют и западного читателя: «Если Центральная Европа» действительно является чем-то цельным, то это должно проявиться в публицистике трех литераторов. Если же между ними ничего общего нет, то, возможно, нет и Центральной Европы».

Дьёрдь Конрад, автор публицистической книги «Антиполитика», так формулирует историко-политическую проблематику своего региона: «Восточную Центральную Европу попросту преследует историческое невезенье: ей не удалось обрести независимость после развала восточной — турецко-татарской гегемонии, позже западной — австро-германской и, наконец, вновь восточной — советско-русской гегемонии. Все это мешает нам в течение тысячи лет сделать западный выбор, несмотря на наши врожденные исторические наклонности».

Тимоти Гартон Эш считает подобный подход не историческим, а мифологическим: «Мы вроде бы должны понять, что истинная Центральная Европа всегда была западной, мыслящей, гуманистической, демократической, скептической и терпимой. Все прочее было «восточноевропейским», русским или, там, немецким. Определенней всех эту тенденцию выражает чешский писатель Милан Кундера. Его Центральная Европа является зеркальным отражением солженицынской России. По Солженицыну, коммунизм — это зараза, болезнь, которой Россию заразили. По Кундере, Центральная Европа больна коммунизмом, а рассадник этой заразы — Россия! Кундеровский миф Центральной Европы противостоит солженицынскому мифу России. Абсурдный тезис Кундеры, исключая Россию из Европы (Гавел и Конрад не разделяют подобной точки зрения) был подвергнут убедительной критике Иосифом Бродским («Политическая система, вытолкнувшая Кундере, является в той же мере продуктом западного рационализма, сколь и восточного эмоционально окрашенного радикализма»). Но не будем останавливаться на этом. Не собственно ли цент-

ральноевропейские традиции, по крайней мере, облегчили установление коммунистических режимов в Венгрии и Чехословакии и вдохнули жизнь в традиции, которым эти режимы следуют до сих пор?.. Что более специфично для Центральной Европы: космополитическая терпимость или национализм и расизм? Франсуа Бонди красноречиво заметил в реплике, адресованной Кундере, что Кафка был в такой же мере продуктом Центральной Европы, как и Адольф Гитлер. И вот еще что. Снова и снова я спрашиваю себя: с каких это пор «центральноевропейское мышление» стало «скептическим, трезвым, антиутопичным, сдержанным»? Может быть, по мнению Конрада, уже тысячу лет? В 1948 году, как выразительно вспоминает Кундера в «Книге смеха и забвения», большинство центральноевропейских интеллектуалов взяли за руки и, приплясывая встретили нисхождение царства небесного на землю. Или только с 1968 года?»

Тимоти Гартон Эш не считает склонность к мифам исключительной прерогативой центральноевропейцев. В качестве примера он ссылается на немцев, которые видят в участниках заговора против Гитлера в 1944 г. либералов и демократов: «Не исключено, что миф о благородном прошлом Центральной Европы — хороший миф. Вроде солженицынского мифа о России. Преувеличения такого рода противоречат официальным догмам... Так, может, и нам не следует разрушать хороших мифов? Нет, следует. И порой, когда вопрос поставлен ребром, Конрад и Гавел тоже отвечают: следует... Конрад прямо заявляет: «В конце концов, именно мы, центральноевропейцы, начали обе мировые войны». И хотя в Центральной Европе порой по-прежнему поэтически мифам, в новой дискуссии, от Праги до Будапешта, все явственней ощущается чувство исторической ответственности, осознание глубокой двойственности исторической реальности, короче говоря, понимание того, что Центральная Европа далеко не «часть Запада, заброшенная на Восток».

У интеллектуалов разных стран Центральной Европы дей-

ствительно есть нечто общее: они на собственном опыте знают, что такое коммунизм советского типа. Лишь для несведущего реальный коммунизм предстает чем-то упрощенным, черно-белым. В действительности в коммунистическом обществе водораздел проходит не между народом-жертвой и государством-узурпатором, а внутри каждого индивида, ибо он является одновременно и жертвой и опорой режима. Тимоти Гартон Эш отмечает, что тактически польские, венгерские и чешские интеллектуалы близки в двух аспектах: во-первых, все они выступают за «гражданское общество» как альтернативу государственной системе. Под этим они понимают создание независимых от государства и партии структур, групп, организаций, во-вторых, они выступают за ненасильственные методы. Методы якобинцев и ленинцев — клевета, избияния, убийства, атмосфера ненависти — неприемлемы для центральноевропейской оппозиции. Но когда дело доходит до более конкретных рецептов, Гавел, Конрад и Михник уже не кажутся столь близкими. Тимоти Гартон Эш замечает: «Конрад утверждает, что различные национальные стратегии преследуют одну цель. Но это утверждение не более, чем попытка аккуратно замазать глубокие трещины. Что действительно объединяет инакомыслящих, так это пренебрежение материальным аспектом жизни. Все они довольно презрительно относятся к экономике. Нам могут возразить, что, вопреки Марксу, именно сознание определяет бытие, но так вряд ли можно оправдать пренебрежение к последнему».

Тимоти Гартон Эш отдает должное широте мышления своих оппонентов, но при этом он подчеркивает, что они все же представляют меньшинство, а может, и вовсе являются одиночками. Для большинства же самым важным побудительным мотивом является национализм: «Даже сегодня, после того как Центральная Европа была самым жестоким образом «очищена» от двух самых крупных национальных меньшинств — евреев и немцев — национализм находит куда более широкий отклик, не-

жели интернационализм Конрада, причем не только среди широких масс, но и среди независимых интеллектуалов... И еще об одном сомнении, пожалуй, самом глубоком. Может быть, все, что я попытался обрисовать как общее и объединяющее — не более, чем побочный эффект, обусловленный повсеместным отсутствием власти? Не зависит ли, в конечном счете, воображаемый образ Центральной Европы от вполне реально существующей Восточной Европы? Где невозможна политика, там появляется «антиполитика»; где «возможное» недостижимо, там изобретается «невозможное». Моралистическую критику западноевропейцев в адрес американской внешней политики часто называют «высокомерием бессильных». Не приложимо ли подобное определение, с еще большим основанием, к морали антиполитики? Антиполитика — это следствие поражения. Ну, а что же было бы в случае победы?»

Тимоти Гартон Эш довольно жестко оценивает реальную силу или бессилие инакомыслящих Центральной Европы, но жесткость и трезвость он противопоставляет голым декларациям, национальному сентиментализму и благим пожеланиям: «На насилие, ложь, разложение общества, принцип «разделяй и властвуй» имперской системы антиполитики отвечают призывами жить не по лжи, не прибегать к насилию, бороться за создание гражданского общества и — идеей Центральной Европы. Но новая Центральная Европа остается всего лишь идеей. Восточная Европа вполне реальна — это часть Европы, находящаяся под военным контролем Советского Союза. Новую же Центральную Европу должно создать. И ее не создашь, долдоня лозунг «Центральная Европа», как бы моден он ни был от Калифорнии до Будапешта. Что же позитивного видит английский эссеист в деятельности и воззрениях центральноевропейских инакомыслящих? К примеру, он считает, что те западные читатели, кто внимательно прочел Михника и Гавела, больше не могут верить в некую структурную симметрию или моральную однозначность американской роли в Западной Европе и советской в Восточной Европе.

Но это, скорее, частное замечание. Главный же вывод Тимоти Гартона Эша таков: «Я верю, что их опыт представляет собой нечто ценное для нас всех. В своих лучших проявлениях это — личный пример, какого днем с огнем не сыщешь в Лондоне, Вашингтоне или Париже, пример не интеллектуального блеска, мудрости или оригинальности, а интеллектуальной ответственности, цельности и мужества. Они знают — и напоминают нам красноречиво, упорно, что идеи кое-что да значат, и слова тоже, и что слова чреватые последствиями, и что нельзя ими пользоваться легкомысленно... Во мраке тоталитарной власти большинство идей и слов деформируются, уродуются, просто рассыпаются. Лишь немногие выдерживают испытание, и большинство таких выдержавших испытание идей и слов далеко не новы. Все-таки есть еще в мире нечто такое, за что стоит страдать. Есть еще моральные абсолюты... Эти качества и ценности были обретены ими благодаря особому центрально-европейскому опыту, опыту наших дней. И раз уж мы в состоянии прочесть написанное ими, то, быть может, и нам удастся кое-что извлечь из их опыта, так и не выстрадав его собственной жизнью».

И. П.

Александр Орлов ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СТАЛИНСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Эта книга принадлежит одному из видных деятелей сталинского НКВД, но почти 30 лет она была неизвестна русскому читателю. Чудом уцелев, генерал Александр Орлов бежал в 1938 году в Соединенные Штаты и, оставаясь 15 лет неузнанным, прожил здесь до конца своих дней. Книга Орлова — это документальное свидетельство эпохи, раскрывающее самые глубокие тайны сталинской секретной полиции.

...КАК ГОТОВИЛОСЬ УБИЙСТВО КИРОВА...
...ВСТРЕЧА СТАЛИНА С НИКОЛАЕВЫМ...
...КАК БЫЛИ ВЫРВАНЫ ПРИЗНАНИЯ У ЗИНОВЬЕВА И КАМЕНЕВА...
...ИХ СДЕЛКА СО СТАЛИНЫМ В КРЕМЛЕ...
...ДОПРОСЫ И ПРИЗНАНИЯ ПЯТАКОВА, БУХАРИНА. РАДЕКА...
...ПОДРОБНОСТИ ГИБЕЛИ АЛЛИЛУЕВОЙ...
...ЯГОДА ПЕРЕД КАЗНЬЮ...
...ЕЖОВ, КАКИМ ОН БЫЛ...
...ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СТАЛИНА ПАУКЕР ОБ УТЕХАХ ВОЖДЯ...

Таковы лишь штрихи, лишь отдельные эпизоды документальной эпопеи Александра Орлова.

По свидетельству специалистов, ни одна из изданных до сих пор книг о советской тайной полиции не может сравниться с книгой Александра Орлова как по документальной точности излагаемых фактов, так и по захватывающему интересу, который она вызывает у читателей. Тот, кто открыл первую страницу этой книги, уже не сможет закрыть ее, не дочитав до конца этот зловецкий детектив сталинской инквизиции.

Книга Орлова (350 стр.) иллюстрирована редкими фотографиями 30-х годов. Цена книги - 15 долларов. Пересылка - 1 доллар.

Заказы и чеки посылайте по адресу:

**"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605, USA
Tel.: (201) 592-6155**



НАСТИГНУТЬ УТРАЧЕННОЕ ВРЕМЯ

Интервью Джона Глэда с лауреатом Нобелевской премии Иосифом Бродским. Из цикла «Беседы в изгнании: мозаика русской эмигрантской литературы».

Д.Г. У вас столько брали интервью, что я боюсь, что мне не избежать повторений.

И.Б. Ничего, не бойтесь...

Д.Г. А с другой стороны не хочется упустить что-то важное. Евгений Рейн, по вашим словам, однажды посоветовал вам свести к минимуму употребление прилагательных и делать упор на существительные, даже, если глаголы пострадают при этом. Вы следуете этому совету?

И.Б. Да, более или менее. Можно сказать, что это один из наиболее ценных советов, которые я когда-либо получал. Не помню, что он сказал дословно, но мысль была примерно следующая: стихотворение должно состоять из существи-

тельных, количество прилагательных следует свести к минимуму. Например, если стихотворение положить на некую магическую скатерть, которая убирает прилагательные, то все равно останется достаточно черных мест. Глаголы еще туда-сюда, еще могут иметь место, но прилагательных должно быть как можно меньше...

Вообще, у этого человека я научился массе вещей. Он научил меня почти всему, что я знал, по крайней мере, на начальном этапе. Думаю, что он оказал исключительное влияние на все, что я сочинял в то время. Это был, вообще, единственный человек на земле, с чьим мнением я более или менее считался и считаюсь по сей день. Если у меня был когда-нибудь мэтр, то таким мэтром был он.

Д.Г. В предисловии к прозе Цветаевой вы пишете, что мышление любого литератора иерархично. В чем ваша поэтическая иерархия?

И.Б. Ну, прежде всего речь идет о ценностях, хотя и не только о ценностях. Дело в том, что каждый литератор в течение жизни постоянно меняет свои оценки. В его сознании существует как бы табель о рангах, скажем, тот-то внизу, а тот-то наверху...

Д.Г. Поэты наверху, прозаики внизу?

И.Б. Ну, это само собой, но то, что я имел в виду, на самом деле относится к тем авторам, кого ты любишь, кого ценишь, кто тебе дороже, или важнее, или ближе. В первую очередь это и относится к определенной шкале ценностей. И эта шкала ценностей, действительно, вертикальная шкала, не правда ли? Вообще, как мне представляется, литератор, по крайней мере, я (единственный, о ком я могу говорить) выстраивает эту шкалу по следующим соображениям: тот или иной автор, та или иная идея важнее для него, чем другой автор или другая идея, — просто потому, что этот автор вбирает в себя предыдущих. То же самое происходит и с идеей, которая вместе с тем предлагает и какие-то новые, последующие идеи. Да и, вообще, сознание человека

иерархично. Всякий, кто воспитан в лоне какой бы то ни было идеологии или каких-то принципов, выстраивает лестницу, на верху которой либо царь, либо бог, либо начальник, либо идея, которая играет роль начальника.

Д.Г. А темы тоже иерархичны?

И.Б. Ну, темы — нет, безусловно — нет!

Д.Г. В том же предисловии вы пишете, я цитирую: «В конечном счете каждый литератор стремится к одному и тому же: настигнуть или удержать утраченное или текущее время».

И.Б. Ну, более или менее да...

Д.Г. Прямо из Пруста...

И.Б. Безусловно.

Д.Г. Я не знаю, верно ли это в отношении всех писателей, но что касается вас, то это так. Чем вы это объясняете?

И.Б. Дело в том, что то, что меня более всего интересует и всегда интересовало на свете (хотя раньше я полностью не отдавал себе в этом отчета) — это время и тот эффект, какой оно оказывает на человека, как оно его меняет, как обтачивает, то есть это такое вот практическое время в его длительности. Это, если угодно, то, что происходит с человеком во время жизни, то, что время делает с человеком, как оно его трансформирует. С другой стороны, это всего лишь метафора того, что, вообще, время делает с пространством и с миром. Но это несколько обширная идея, которой лучше не касаться, потому что она заведет нас в дебри. Вообще, считается, что литература, как бы сказать — о жизни, что писатель пишет о других людях, о том, что человек делает с другим человеком и т.д. В действительности это совсем не правильно, потому что на самом деле литература не о жизни, да и сама жизнь — не о жизни, а о двух категориях, более или менее о двух: о пространстве и о времени. Ну, вот Кафка, например, — это человек, который занимался исключительно пространством, клаустрофобическим пространством, его эффектом и т.д. А Пруст занимался,

если угодно, клаустрофобической версией времени. Но это в некотором роде натяжка, можно было бы высказаться и поточнее. Во всяком случае, время для меня куда более интересная, я бы даже сказал, захватывающая категория, нежели пространство, вот, собственно, и все...

Д.Г. Возвращаюсь к тому же предисловию, опять цитирую: «Ее изоляция, то есть Цветаевой, изоляция не предусмотренная, но вынужденная, навязанная извне логикой языка, историческими обстоятельствами, как качеством современников» ...Ведь вы же тут пишете о своей изоляции.

И.Б. Думаю, что не столько о своей, сколько прежде всего о ее. Это относится почти ко всякому литератору. Безусловно, я в известной степени пишу о своей изоляции — да, собственно, что у нас общего с Цветаевой, — это какие-то элементы биографии.

Д.Г. А именно?

И.Б. Ну, господа, пребывание на протяжении такого количества лет вне отечества и т.д. Бессмысленно говорить о том, какой поэт Цветаева, на мой взгляд, это самое грандиозное явление, которое вообще знала русская поэзия. И тот факт, что у нас по крайней мере эта деталь общая, почти оправдывает вообще мое существование.

Д.Г. Вы чувствуете какой-нибудь разрыв с аудиторией?

И.Б. Контакта с аудиторией, как правило, вообще не бывает; то, что воспринимается как контакт, — это ощущение в достаточной степени фиктивное. Даже когда непосредственный контакт существует, люди всегда слышат, или читают, или вычитывают в том, что вы сочиняете, нечто исключительно свое. Контактom это не назовешь, потому что и поведение и отношение людей к произведениям литературы или, скажем, к факту присутствия писателя на сцене или на кафедре — оно всегда в достаточной степени идиосинкратично: каждый человек воспринимает то, что он видит, сквозь свою абсолютно уникальную призму. Но когда мы говорим о контакте, то мы имеем в виду нечто менее сложное, чем то, о чем я сейчас говорю. Речь идет

о реакции читательской среды, которую автор может заметить, интерпретировать и повести себя каким-то определенным образом в соответствии с этой реакцией... Безусловно, существует чисто физическое отсутствие подобной связи, подобного контакта. Но, по правде сказать, меня этот контакт никогда особенно не интересовал, потому что все творческие процессы существуют сами по себе, их цель — не аудитория и не немедленная реакция, не контакт с публикой. Это скорее (особенно в литературе!) — продукт языка и ваших собственных эстетических категорий, продукт того, чему язык вас научил. Что касается реакции аудитории и публики, то, конечно, приятнее, когда вам аплодируют, чем, когда вас освистывают, но я думаю, что в обоих случаях — эта реакция неадекватна, и считается с ней или, скажем, горевать по поводу ее отсутствия, бессмысленно. У Александра Сергеевича есть такая фраза: «Ты, царь, живи один, дорогою свободной иди, куда ведет тебя свободный ум». В общем, при всей ее романтической дикции, в этой фразе колоссальное здоровое зерно. Действительно, в конечном счете, ты сам по себе, единственный тет-а-тет, который есть у литератора, а тем более у поэта. Это — тет-а-тет с его языком, с тем, как он этот язык слышит. Диктат языка — это и есть то, что в просторечии именуется диктатом музы, на самом деле это не музыка диктует вам, а язык, который существует у вас на определенном уровне помимо вашей воли.

Д.Г. И все это к другим писателям тоже относится?

И.Б. В известной степени это относится и к другим писателям. Писатель, как ни странно, пишет не для публики. Даже самые из них, как бы сказать, «публичные», которые занимались непосредственно животрепещущими, злободневными проблемами, — даже они писали не потому, что хотели высказаться перед публикой, — это был только внешний повод для их деятельности. На самом же деле выживает только то, что производит улучшение не в обществе, но в языке.

Д.Г. Роберт Сильвестр о вас написал: «В отличие от поэтов старшего поколения, созревших в то время, когда в России процветала высокая поэтическая культура, Бродский, родившийся в 1940 году, рос в период, когда русская поэзия находилась в состоянии хронического упадка и вследствие этого вынужден был прокладывать свой собственный путь». Тут два утверждения: во-первых, упадок, и второе то, что вы проложили свой собственный путь, каждый поэт это делает, но как вы смотрите на эти оба утверждения?

И.Б. Что касается упадка, то это не только упадок, — в течение 40-50 годов об изящной словесности в России всерьез вообще говорить не приходилось. Разумеется, существовали какие-то люди, которые продолжали заниматься стихосложением. Были, правда, и замечательные поэты: была жива Ахматова, был жив Пастернак, но до молодых людей вроде меня это никак не доходило. Мы совершенно не были осведомлены об их существовании — я не был, во всяком случае. Помню, что когда тот же Рейн предложил меня свести к Ахматовой, я чрезвычайно сильно удивился: а что, Ахматова жива? Это — во-первых, а во-вторых, когда мы поехали, я даже не знал, к кому мы едем. Надо сказать, я особенно и не читал Ахматову. Что касается Пастернака, то его имя было как-то больше на устах. Я уж не знаю, чем все это объяснить, может быть, каким-то недостатком в моей способности воспринимать изящную словесность в ту пору, либо я уже не знаю чем... Я впервые прочел Пастернака более или менее осмысленным образом, когда мне было года 24, не раньше. Правда, помимо Пастернака, помимо Ахматовой, были совершенно замечательные люди, как, например, Семен Липкин, но они были абсолютно неизвестны и недоступны. Даже если у Липкина были двоюродные братья и сестры, то и они ничего не знали: он все писал в стол. В те же самые годы писал, работал Тарковский, но никто его не читал. Все это вышло на поверхность много позже. Тарковский, грубо говоря, — это 60-е годы,

конец 60-х, а Липкин вообще стал известен совсем недавно. Во всяком случае, молодые люди, вроде вашего покорного слуги и его друзей, знали очень мало о том, что на самом деле происходило в отечественной словесности. Как впрочем, не знал этого и остальной мир. Я думаю, что в этом смысле утверждение Сильвестра достаточно справедливо, потому что в качестве поэзии выдавалось то, что существовало на страницах печати, — но это был абсолютный вздор, об этом и говорить стыдно, и вспоминать не хочется. Что касается прокладывания своей собственной дороги (в этом смысле дорога была исключительно «своей собственной»), то это была не столько дорога, сколько блуждание наощупь, вслепую. Что-то я подбирал себе на слух или по наитию. И вообще, процесс был не столько литературный... — то, чем мы занимались, тот же Рейн, Нейман, тот же Бобышев; с другой стороны, Горбовский, Кушнер, — все мы в известной степени открывали для себя изящную словесность впервые. Это был процесс чрезвычайно любопытный и потрясающе интересный: мы начинали литературу заново. Мы не были отпрысками, или последователями, или элементами какого-то культурного процесса, особенно литературного процесса, — ничего подобного не было. Мы все пришли в литературу бог знает откуда, практически лишь из факта своего существования, из недр, не то, чтобы от станка или от сохи, гораздо дальше, — из умственного, интеллектуального, культурного небытия. И ценность нашего поколения заключается именно в том, что никак и ничем не подготовленные, мы проложили эти самые, если угодно, дороги. Дороги — это, может быть, слишком громко, но тропы — безусловно. Мы действовали не только на свой страх и риск, это само собой, но просто исключительно по интуиции. И что замечательно — что человеческая интуиция приводит именно к тем результатам, которые не так разительно отличаются от того, что произвела предыдущая культура, стало быть, перед нами не распавшиеся еще цепи времен, а это замечательно. Это

безусловно свидетельствует об определенном векторе человеческого духа.

Д.Г. Это может быть отчасти связано с тем, что вы сами побеспокоились о своем образовании, ведь вы же ушли из школы после 8 класса?

И.Б. Я — да. Но это только сейчас, оглядываясь, я могу сказать что-нибудь в этом роде. Когда я уходил из школы, когда мои друзья бросали свои должности, дипломы, переключались на изящную словесность, мы действовали по интуиции, по инстинкту. Мы кого-то читали, мы, вообще, очень много читали, но никакой преемственности в том, чем мы занимались, не было. Не было ощущения, что мы продолжаем какую-то традицию, что у нас были какие-то воспитатели, отцы. Мы, действительно, были если не пасынками, то в некотором роде сиротами и замечательно, когда сирота запекает голосом отца. Это и было, по-моему, самым потрясающим в нашем поколении. Все эти книги, все эти сочинения — Мандельштама, Цветаевой, Ахматовой — все это мы доставали с невероятным трудом, если доставали вообще. Я, например, прочел Мандельштама, когда мне было 23 года, а стихи я начал писать более или менее сознательно, когда мне было 18, 19 или 20 лет. Но если ты находишь кого-нибудь вроде Мандельштама, Цветаевой или Ахматовой в 24 года, то ты не особенно воспринимаешь их как влияние, а скорее, скажем, с чисто археологической точки зрения. Они и производят сильное впечатление потому, что ты не предполагал об их существовании. В то же время, если ты вырастаешь в среде, когда известно, что был Мандельштам, ты знаешь, чего ждать, у тебя есть какая-то общая идея относительно того, что происходит в поэзии. Без этого ты только гадаешь, как радар, который посылает в атмосферу сигналы, иногда ты можешь увидеть отсветы, но чаще не видишь ничего.

Д.Г. А как же быть теперешним молодым писателям?

И.Б. Черт его знает, мне трудно что бы то ни было сказать по этому поводу. В известной степени у них полная малина, потому что все, что их интересует, им доступно. Ра-

зумеется, не следует их всех валить в общую кучу, так как благодаря разнообразным обстоятельствам люди начинают жить самым разным образом. И вполне возможно, что они могут оказаться в условиях столь же изолированных от каких-либо культурных влияний, в каких когда-то оказались мы, но на сегодняшний день это представить трудно.

Д.Г. Когда вы только приехали на Запад, вы сказали — я цитирую по памяти — что не собираетесь мазать дегтем ворота родины.

И.Б. Да, более или менее...

Д.Г. Очевидно, вы тогда еще рассчитывали вернуться?

И.Б. Нет... нет...

Д.Г. А теперь утеряна надежда или...

И.Б. У меня не было никогда надежды, что я вернусь. Хотелось бы, но надежды нет. Во всяком случае, я сказал это отнюдь не в надежде обеспечить себе возврат когда бы то ни было под отчий кров. Нет, мне просто неприятно этим заниматься. Я не думаю, что этим следует заниматься.

Д.Г. А желание вернуться?

И.Б. О, желание вернуться, конечно, существует, куда оно денется, с годами оно не столько ослабевает, сколько укрепляется.

Д.Г. Вы русский поэт, но американский эссеист. Не создает ли это какого-нибудь раздвоения личности? Не идет ли ваша «русскость» постоянно на убыль?

И.Б. Как вам сказать? Я не знаю. Что касается меня, то внутри своего сознания я чувствую себя достаточно естественным образом. Думаю, что это вообще идеальная ситуация — быть русским поэтом и американским эссеистом. Вся история заключается в том, хватит ли у вас — а) души и б) извилин на то и другое. Иногда мне кажется, что хватает, иногда — что нет. Мне кажется иногда, что одно мешает другому; зачастую, когда я сочиняю стихотворение и пытаюсь уловить рифму, вместо русской вылезает английская, но это издержки, которые у этого производства всегда велики. А какую форму принимают эти издержки, уже без-

различно. Я не знаю, может быть, моя русскость идет на убыль, но если она может идти на убыль, то это и есть ее красная цена, это свидетельствует о ее качестве. Думаю, что этого нет, хотя, может быть, и есть, я не знаю. По крайней мере, стихи по-русски мне до сих пор писать хочется, и я до сих пор этим занимаюсь. То, что я делаю, мне нравится, точнее часто нравится, и это в конечном счете то, что меня более всего интересует. Больше всего меня занимает процесс, а не его последствия. А что касается того, пошла ли русскость моя на убыль, или, наоборот, как бы сказать, законсервировалась, — это уже судить не мне. Хотя я думаю, что прежде всего надо было бы определить понятие «русскость», которое в общем связано с некоторым сужением русского национального сознания. Я думаю, что русский человек — это гораздо более обширное явление и что если что-нибудь и происходит в моем случае, то в некотором роде это расширение русскости, а не ее сужение, хотя я, может быть, и лгу себе.

Д.Г. В статье «Английский Бродский» Алексей Лосев пишет: «Писателем можно быть только на одном родном языке, что предопределено просто-напросто географией. Даже с малолетства в совершенстве владея двумя или более языками, всегда лишь один мир твой, лишь одним культурно-лингвистическим комплексом ты можешь сознательно управлять, а все остальные — посторонние, как их не изучай, жизни не хватит, хлопот и ляпсусов не оберешься». Вы с этим согласны?

И.Б. Это утверждение вздорное, т.е. не вздорное, а чрезвычайно, как бы сказать, епархиальное, я бы сказал, местечковое. Дело в том, что в истории русской литературы не так уж легко найти пример, когда бы писатель был литератором в двух культурах, но двуязычие — это норма, вполне реальная норма: Пушкин, в конце концов...

Д.Г. Но Пушкин не стал известен как французский поэт.

И.Б. Совершенно верно, он не стал известен как французский поэт, но как автор писем он был ничуть не хуже

своих французских современников. И так, Пушкин, Тургенев, два языка — это норма. Просто в силу самых разнообразных, не нами придуманных обстоятельств мы оказались в ситуации, когда нам не остается ничего другого как настаивать на нашей этнической уникальности. Но для человеческого вида, для рода, просто для человека как организма это означает нечто оскорбительное. Дело в том, что у человеческого организма существуют огромные потенциальные возможности развития, и с моей точки зрения, просто оперировать двумя языками — в этом нет ничего сверхъестественного. Возьмите европейцев: голландцев, немцев, англичан — для них существование, в общем, двух или трех языков вполне естественно. Я знаю массу людей, для которых написать одно и то же на двух языках вполне возможно. Стихи труднее, но тоже возможно. Возьмите Бекета, Джойса, кого угодно, почему русские хуже? Я привожу эти примеры не потому, что моя жизнь сложилась так же, как их жизнь. Я начал сочинять свои эссе по-английски исключительно по соображениям практическим, потому что эссе, рецензия или, скажем, статья заказывается тебе журналом. Конечно, ее можно написать по-русски, потом перевести на английский, но это занимает гораздо больше времени.

Журналы, как правило, ограничены какими-то определенными сроками, надо поспеть к выходу, поэтому гораздо большая вероятность напечатать, если ты уже пишешь по-английски. И это было единственным соображением, по которому я этим занялся. Для меня абсолютно естественно быть русским поэтом и писать эссе по-английски.

Д.Г. А вы хотите, в конечном итоге, стать двуязычным поэтом?

И.Б. Вы знаете, нет. Эта амбиция у меня совершенно отсутствует, хотя я вполне в состоянии сочинять весьма приличные стихи по-английски. Но для меня, когда я пишу стихи по-английски, — это скорее игра, шахматы, если угодно, такое складывание кубиков. Хотя я часто ловлю себя

на том, что процессы психологические, эмоционально-акустические идентичны. Приходят в движение те же самые механизмы, которые действуют, когда я сочиняю стихи по-русски. Но статья Набоковым или Джозефом Конрадом — этих амбиций у меня напрочь нет. Хотя я это вполне представляю себе возможным, у меня просто нет на это ни времени, ни энергии, ни нарциссизма. Однако я вполне допускаю, что кто-то на моем месте мог быть и тем и другим, т.е. сочинять стихи и по-английски и по-русски. Более того, я думаю, что это и произойдет в конечном счете, если мы говорим о будущем. Вполне возможно, что через 20-30 лет просто появятся люди, для которых это будет вполне естественным. Я, например, знаю ряд литераторов в Европе — немецких и итальянских, которые, когда это им больше нравится, начинают писать стихи по-английски. Разумеется, это сопряжено с некоторой редуциацией качества поэтической техники. Особенно это естественно, когда речь идет о верлибре. Возьмите того же самого Айги, я совершенно не понимаю, почему он пишет по-русски, он может писать по-немецки, на суахили, там не связано это ни с какой дисциплиной. Речь идет о том, что по-английски называется «perception», о восприятии каких-то определенных ощущений. И если вы изящную словесность воспринимаете, как передачу этих ощущений в определенной сюжетной последовательности — то все это можно сделать. Другое дело стихи, как я их понимаю, — восстановление гармонии просодии, это несколько труднее, хотя и это возможно. Я это сделал несколько раз, чтобы, по крайней мере, убедиться, что я в состоянии это сделать и чтобы не было этих самых комплексов.

Д.Г. Как вы эволюционируете как поэт?

И.Б. Я не знаю, как я эволюционирую. Думаю, что эволюцию у поэта можно проследить только в одной области — в просодии, т.е. какими размерами он пользуется. Размеры, вы знаете, — это по сути сосуды, или, по крайней мере, отражение определенного психического состояния. Оглядываясь назад, я могу с большей или меньшей до-

стоверностью утверждать, что в первые 10-15 лет своей как бы сказать карьеры я пользовался размерами более точными, более точными метрами, т.е. пятистопным ямбом, что свидетельствовало о некоторых моих иллюзиях, о способности или о желании подчинить свою речь определенному контролю. На сегодняшний день в том, что я сочиняю, гораздо больший процент дольника, интонационного стиха, когда речь приобретает, как мне кажется, некоторую нейтральность. Я склоняюсь к нейтральности тона, и думаю, что изменение размера или качество размеров, что ли, свидетельствует об этом. И, если есть какая-либо эволюция, то она в стремлении нейтрализовать всякий лирический элемент, приблизить его к звуку, производимому маятником, т.е. чтобы было больше маятника, чем музыки.

Д.Г. Вы думаете, что такой отход от традиционных размеров будет более широко принят потом?

И.Б. Знаете, все это в высшей степени гадательно, и я не особенно над этим ломаю голову. Я думаю, что то, чем я занимаюсь, более или менее отражает мою собственную (хотя это и звучит несколько высокопарно) эволюцию. В конце концов, мои сочинения, моя жизнь — это мое Евангелие.

Д.Г. Расскажите, пожалуйста, об Ахматовой.

И.Б. Это долго и это сложно. Об этом надо либо километрами, либо совсем ничего. Для меня это чрезвычайно трудно, потому что я совершенно не в состоянии ее объективировать, то есть выделять из своего сознания; скажем так, вот вам Ахматова, и я о ней рассказываю. Может быть, я преувеличиваю, но люди, с которыми вы сталкиваетесь, становятся частью вашего сознания, людей, с которыми вы встречаетесь, как это ни жестоко звучит, вы как бы в себя «втираете», они становятся вами. Поэтому, рассказывая об Ахматовой, я в конечном счете говорю о себе. Все, что я делаю, что пишу, — это, в конечном счете, и есть рассказ об Ахматовой.

Если говорить о моем знакомстве с ней, то произошло это, когда я был совершенным шпаной. Мне было 22 года, на-

верное. Рейн меня отвез к ней, и моим глазам представилось зрелище, по прежней жизни совершенно незнакомое. Люди, с которыми мне приходилось иметь дело, находились в другой категории, нежели она. Она была невероятно привлекательна, она была очень высокого роста, не знаю, какого именно, но я был ниже ее и, когда мы гуляли, я старался быть выше, чтобы не испытывать комплекса неполноценности. Глядя на нее, становилось понятно (как сказал, кажется, какой-то немецкий писатель) почему Россия время от времени управлялась императрицами. В ней было величие, если угодно, имперское величие. Она была невероятно остроумна, но это не способ говорить об этом человеке. В те времена я был абсолютный дикарь, дикарь во всех отношениях — в культурном, духовном, я думаю, что если мне и привились некоторые элементы христианской психологии, то произошло это благодаря ей, ее разговорам, скажем, на темы религиозного существования. Просто то, что эта женщина простила врагам своим, было самым лучшим уроком для человека молодого, вроде вашего покорного слуги, уроком того, что является сущностью христианства. После нее я не в состоянии, по крайней мере до сих пор, всерьез относиться к своим обидчикам. К врагам, заведомым негодьям, даже, если угодно, к бывшему моему государству, и их презирать. Вот один из эффектов. Мы чрезвычайно редко говорили о стихах как о таковых. Она в то время переводила. Все, что она писала, она все время показывала нам, т.е. я был не единственным, кто ее в достаточной степени хорошо знал, нас было четверо (Рейн, Нейман, Бобышев и я), она называла нас «волшебным куполом». («Волшебный купол» с божьей помощью распался). Она всегда показывала нам стихи и переводы, но не было между нами пиетета, хождения на задних лапках и заглядывания в рот. Когда нам представлялось то или иное ее выражение неудачным, мы ей предлагали поправки, она исправляла их, и наоборот. Отношения с ней носили абсолютно человеческий и чрезвычайно непосредственный характер. Разумеется, мы знали, с кем имеем дело, но это

ни в коем случае не влияло на наши взаимоотношения. Поэт, он все-таки в той или иной степени прирожденный демократ. Он, как птичка, которая, на какую ветку ни сядет, сразу же начинает чирикать. Так и для поэта — иерархий в конечном счете не существует, не иерархий оценок, о которых я и говорил вначале, а других, человеческих иерархий.

Д.Г. О вашем суде не хотите поговорить?

И.Б. Ну, это бессмысленно, это был определенный зоопарк.

Д.Г. Когда речь заходит о ваших стихах, то часто говорится о влиянии Джона Донна.

И.Б. Это — чушь.

Д.Г. Вы же сами писали об этом.

И.Б. Ну, я написал стихотворение, большую элегию Джону Донну. Впервые я начал читать его, когда мне было 24 года и, разумеется, он произвел на меня сильное впечатление: ничуть не менее сильное, чем Мандельштам и Цветаева. Но говорить о его влиянии? Кто я такой, чтобы он на меня влиял? Единственно, чему я у Донна научился, — это строфике. Донн, как вообще большинство английских поэтов, особенно елизаветинцев — что называется по-русски ренессанс, — так вот, все они были чрезвычайно изобретательны в строфике. К тому времени, как я начал заниматься стихосложением, идея строфы вообще отсутствовала, поскольку отсутствовала культурная преемственность. Поэтому я этим чрезвычайно заинтересовался. Но это было скорее влияние формальное, если угодно, влияние в области организации стихотворения, но отнюдь не в его содержании. Джон Донн куда более глубокое существо, нежели я. Я бы никогда не мог стать настоящим ни в Святом Павле, ни в Святом Петре. То есть это гораздо более глубоко чувствующий господин, нежели ваш покорный слуга. Я думаю, что все английские поэты, которых я читал, оказывают влияние, и не только великие поэты, но и чрезвычайно посредственные, они даже влияют в большей степени, потому что показывают, как не надо писать.

ВРЕМЯ И МЫ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛА

ЗА 11 ЛЕТ ИЗДАНИЯ, С № 1 ПО № 96

На страницах журнала печатались такие выдающиеся современные писатели, как Сол Беллоу, Артур Кестлер, Олдос Хаксли, Эфраим Кишон, А.Б.Иошуа и многие другие.

Среди авторов журнала — известные писатели современной России и русского зарубежья: Василий Гроссман, Лидия Чуковская, Виктор Некрасов, Владимир Войнович, Василий Аксенов, Иосиф Бродский, Семен Липкин, Инна Лиснянская, Юз Алешковский, Владимир Марамзин, Александр Зиновьев, Аркадий Львов.

В разделе публицистики выступают: Андрей Синявский, Ефим Эткинд, Дора Штурман, Лев Наврозов, Амос Оз, раввин Адин Штейнзальц, Борис Шрагин и др.

С именем журнала "Время и мы" связано появление в русской литературе целого созвездия талантливых имен: Фридриха Горенштейна, Бориса Хазанова, Зиновия Зиника, Юрия Карабчиевского, Феликса Розинера.

Огромной популярностью у читателей пользуется раздел "Из прошлого и настоящего", где были опубликованы воспоминания о Бунине, мемуары Марии Иоффе (бывшего секретаря Л.Троцкого), Самуила Микуниса (в прошлом генерального секретаря компартии Израиля), письма Лескова, переписка Николая Милюкова, дневники Ольги Берггольц. Журнал высоко ценится среди либеральной интеллигенции современной России, откуда редакция постоянно получает письма и рукописи.

Стоимость полного комплекта журнала — 1186 дол.

Для подписчиков — скидка 15 %

Тот, кто приобретает комплект журнала, в качестве подарка получает полный комплект книг издательства "Время и мы".

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We
409 High wood Avenue,
Leonia, NJ 07605, USA.



София ДУБНОВА-ЭРЛИХ

РЕВОЛЮЦИЯ

Вернувшись на родину, я уехала к семье в Финляндию. Милый север встретил меня дыханием разогретой хвои, тишиной лесных полян. Нахлынули воспоминания. Узлы не были распутаны. Тревога не утихала. В полдень на трухлявом пне у стыка лесных тропинок я поджидала почтальона и, заслышав колокольчик, выходила ему навстречу. Сразу узнавала на конверте знакомые, узкие, слегка наклонные буквы, а когда держала в руках тонкие полоски бумаги, мне казалось, что они обжигают пальцы.

Когда настала осень, я вернулась к Петербургу, университету, к «Кружку молодых». В моей тетради появилось много новых стихов, и все настойчивее становилось желание отдать на суд настоящего критика те их них, которые казались мне законченными. Я перечитывала их, переделывала, и в конце концов выбрала три стихотворения и решила послать их в редакцию «Аполлона», журнала, посвященного литературе и искусству. В противоположность московским

В этом номере мы продолжаем публиковать фрагменты из воспоминаний дочери известного историка Семена Дубнова — Софии Семеновны Дубновой-Эрлих, чья жизнь была связана с виднейшими представителями русской культуры и общественной мысли. Им и была посвящена первая часть воспоминаний, напечатанная в предыдущем журнале («Люди Серебряного века»). Предлагаемые фрагменты рассказывают о событиях, связанных с Февральской и Октябрьской революциями. Не только свидетель, но и участник этих событий, С.С.Дубнова приводит необычайно интересные свидетельства времени, воссоздает живые картины прошлого, помогающие лучше понять трагедию, в которую была ввергнута Россия в 1917 году.

«Весам», «Аполлон» был очагом недавно возникшего акмеизма.

Сомнения мучили меня до последней минуты, и когда конверт очутился в почтовом ящике, я стояла на углу нашей улицы, стиснув зубы: если бы это было возможно, я бы вернула его из ящика.

Не прошло и недели, как я держала в руках плотный конверт с печатью «Аполлона». Редактор отдела поэзии Н.Гумилев извещал меня, что стихи эти появятся в одной из ближайших книжек, и приглашал зайти в редакцию побеседовать.

С замиранием сердца перечитывала я строки, принесшие невероятную, радостную весть. Хотелось сорваться с места и помчаться на свидание с редактором (я знала строгие, четкие стихи Гумилева и ценила его мастерство, но моим любимым поэтом он не был). Разум, однако, подсказывал сдержанность — я решила подождать два дня.

Редакция помещалась в сумеречном доме, где пахло стариной. Когда я вошла в просторный кабинет с лепным потолком, навстречу поднялся высокий, статный человек. Запомнилось мне ощущение твердости: твердость чувствовалась в рукопожатии, в почти военной выправке, в зорком, внимательном взгляде слегка косящих светлых глаз, в чуть глуховатом голосе.

Почти с первых слов я ощутила себя ученицей, которой предстоит экзамен. Гумилеву явно хотелось выяснить, что представляет собой молодой, начинающий автор. Внешние данные (студентка, член «Кружка молодых») мало обо мне говорили. Моего собеседника, сразу же вошедшего в роль ментора, интересовало мое литературное прошлое. Когда на вопрос о моих любимых поэтах я назвала Фета и Тютчева, Гумилев одобрительно кивнул. Он сказал: «Это хорошая школа». Хуже обстояло дело с иноязычной литературой. Меня поставил в тупик вопрос о Теофиле Готье: пришлось признаться, что я о нем почти ничего не знаю. Гумилев нахмурился, посоветовал пополнить этот пробел в мо-

ем литературном образовании и спросил, кого я люблю из французов. Я собралась с духом и решимостью пловца, бросающегося в пучину, назвала имя, которое не могло прийти по вкусу моему собеседнику: я чувствовала, что не могла изменить любимцу юных лет, автору «93 года», «Отверженных», стихов о революции. Услышав имя Виктора Гюго, Гумилев в горьком раздумьи забарабанил пальцами по столу: мои литературные вкусы показались ему подозрительными.

Мы заговорили об акмеизме, и мой собеседник принялся ясно и уверенно излагать программу нового поэтического мировоззрения. Беседу прервал угрюмый сторож, появившийся со связкой ключей и заявивший, что должен запереть квартиру. Гумилев предложил продолжить нашу беседу в находящемся неподалеку ресторане. Я была удивлена, когда он ввел меня не в общий зал, а в отдельный кабинет, и сразу почувствовала, как изменился тон разговора. Приглушенный свет лампы под тёмнокрасным абажуром, вино в бокалах, — Гумилев часто подливал мне и себе, но я отпивала понемногу, он создавал казавшуюся мне натянутой и несколько тяжелую атмосферу интимности.

Понизив голос, Гумилев заговорил о себе, рассказал, что у него есть невеста в Царском Селе, и уже шьют белое подвенечное платье, потом спросил, читала ли я недавно напечатанное стихотворение Брюсова — смелый поэтический манифест. Я знала эти чеканные стихи, они говорили о том, что «все в жизни лишь средство для вечно певучих стихов» и что душевные переживания ценны для поэта не сами по себе, а как материал для творчества. Для Гумилева эти слова были символом веры; повторяя их, он разгорячился, на лбу выступили красные пятна, он рассказал мне, что недавно, мучаясь потребностью писать, он прижал к ладони зажженную папиросу и заставил себя терпеть боль, а потом сел к столу и написал стихи. Поэтическое творчество требует преодоления. Поэтому девушка, которая хочет быть поэтом, должна научиться преодолевать девичью стыдливость.

Я сказала, что считаю Брюсова большим мастером поэтического слова и люблю некоторые его стихи, но не собираюсь следовать его совету. Мне думается, что превращая самые интимные наши переживания в средство для писания стихов, мы не достигнем полноты ни в любви к людям, ни в поэтическом творчестве.

Атмосфера становилась напряженной, я почувствовала, что должна уйти, и сказала, что придется закончить нашу беседу, — меня ждут.

Пристально и почти вызывающе глядя мне в глаза, он спросил: «Вас ждет друг?» Мне было ясно, что надо ответить утвердительно, чтобы подняться и уйти. Гумилев проводил меня, усадил в сани. При свете фонарей его лицо показалось мне серым, осунувшимся. Мы молча расстались.

Прошло несколько недель, и настал день, когда я, почти не веря своим глазам, держала в руках журнал с моими стихами. В печатном виде они казались мне более значительными, я вглядывалась в строки, явившиеся для меня чем-то новым.

Теперь мне ясно, что слова звучат по-разному в разные времена. И когда в настоящее время, подготавливая к печати сборник «Стихи разных лет», я стала перелистывать «Осеннюю свирель», смутно и глухо прозвучали для меня многие обороты, явно навеянные поэзией символистов. Невольно пришло в голову, как мог акмеист Гумилев этого не заметить.

Вскоре после выхода в свет книжки «Аполлона» мне довелось встретиться с другим большим поэтом. С.А.Ан-ский передал мне приглашение Федора Сологуба, который, прочтя мои стихи, выразил желание со мной познакомиться. Сологуб по возрасту был ближе к символистам, он был, впрочем, так своеобразен и индивидуален, что трудно было его зачислить в какую бы то ни было литературную школу. С некоторыми поэтическими группами его роднила склонность к демонологии, но лучшие его стихи отличались изы-

сканной и требовательной простотой, исключаящей туманность. Как бы то ни было, он принадлежал к «мэтрам», меня волновала перспектива встречи.

Сологуб жил неподалеку от «Пяти углов», в людном, грязноватом, разночинном, очень «Достоевском» районе Петербурга. Мы сидели в сумрачном кабинете, перед большим камином, в котором трещали дрова, и отсветы пламени падали на изжелта-бледное лицо, которое казалось лицом колдуна из детской сказки. Он смотрел на меня внимательно и зорко, но во взгляде не было холодности.

Меня обрадовало, что Сологуб начал разговор с того, что, по-видимому, считал самым существенным. Он спросил, как у меня возникает стихотворение, с чего я начинаю. Я сказала, что сначала возникает одна строка, и это сразу дает размер, ритм; она может менять место, в ней могут меняться слова, но остов стиха остается неизменным. Он сочувственно закивал головой: «Вот, вот, это правильно, размер — душа стиха. А слова бывают разные, но надо вслушиваться в их звучание. У вас, например, в одном стихотворении строка заканчивается словом «нага». Но при чтении вслух это звучит как «нога», и это плохо. Вообще нужно прислушиваться к людской речи, особенно к тому, как выговаривает слова народ: ходите почаще на Сенную площадь, прислушайтесь в говору бабок-торговок, там услышите настоящий, чистый и живой язык».

Мой собеседник говорил о необходимости усердно работать и о том, как полезны переводы с других языков; все это говорилось спокойным тоном умудренного литературным опытом человека, без тени покровительственности. Меня радовала его серьезность: значит, говорила я себе, он считает, что мне стоит писать. Более, чем когда-либо, в ту пору моей жизни мне нужна была вера в свои силы.

Я послала небольшое стихотворение «Мельник» в популярный журнал «Для всех», и оно тоже было напечатано.

У меня накопилось за последив время много стихов. В них нашли выход душевные метания той поры. Не знаю, как

бы я справилась с ними, если бы не возможность «высказаться словом». Но своих, настоящих слов у меня еще было мало, и я сама не замечала, как вплетались в мои стихи чужие слова, неотступно звучащие в мозгу.

Я всегда колебалась в оценке своих стихов, но благосклонность больших поэтов меня ободряла и внушала смелую мысль об издании небольшого сборника. Этот сборник должен был стать памятной вехой, завершением полосы, подходящей к концу. Как в лихорадке, перелистывала я тетради — выбор был труден. Во всех строках трепетали чувства, которые еще жили во мне. Не сомневаюсь, что если бы я отложила издание книжки на несколько лет, выбор был бы гораздо строже и справедливее.

Теперь, когда я перелистываю пожелтевшие страницы, напечатанные в 1911 году, многое представляется мне незрелым и подражательным, многое хотелось бы вычеркнуть или переделать, но есть строчки, которые остались живыми и настоящими.

Я назвала сборник «Осенняя свирель». Он открывался безымянным посвящением. Последние его строфы звучали так:

И проколола грудь сосновая игла
 В огне рябом зардела мука
 И песнь моя свирель, и песнь моя стрела
 Тобой натянутого лука.
 Вот ветер зашелестел, колышет тетиву,
 Стрела летит в закат янтарный,
 И рада осени, и тонет в синеву
 В тоске немой и благодарной.

От этих стихов я не отказываюсь и теперь.

Я послала книжку нескольким поэтам, которые в какой-то мере были моими учителями. Первым отозвался Вячеслав Иванов, он похвалил книгу и назвал ее «музыкальной». Валерий Брюсов в рецензии о нескольких книжках молодых поэтов кратко отметил в «Осенней свирели» «хорошую

школу и работу над стихом». Самым значительным был отклик Блока: он тоже отметил музыкальность моих стихов, назвав ее «беспредметной», но ему было ясно, что я не нашла еще собственных слов и живу перепевами. Письмо кончалось короткой фразой: «А за книги надо отвечать жизнью».

* * *

Лето 1911 года я провела, как обычно, в Линке. Мы жили в недавно выстроенном дачном домике, от бревенчатых стен которого пахло смолой; старые ели охраняли вход на веранду. Я готовилась к тихому лету, но в нашу семейную жизнь вторглась трагедия. Недомогания, на которые жаловалась моя мать, оказались серьезнее, чем мы предполагали. Доктор нашел в желудке небольшую раковую опухоль и сказал, что спасти больную может только немедленная операция. По его совету родители выехали в Берлин. Маму успешно оперировал знаменитый хирург, и она осталась на некоторое время в больнице.

Вскоре мое одиночество в лесном домике было нарушено приездом Генриха Эрлиха. В зеленой, смолистой тишине созрело решение соединить наши жизни, и мы начали строить планы на будущее. Оказалось возможным провести некоторое время за границей, и до поры до времени мы не стали обзаводиться хозяйством и первый год нашей совместной жизни прожили по-студенчески. Генриху хотелось прослушать курс общественных наук в одном из небольших немецких университетов, — мы выбрали Мюнхен, город богатых библиотек и галерей.

Когда родители вернулись из Берлина, мы рассказали им о наших планах. Особенно обрадовалась мама, она считала меня способной на самые безрассудные шаги, и теперь надеялась, что моя жизнь войдет в обычную колею.

Эрлих объяснил, что хотел бы необходимую брачную церемонию свести к минимуму. Папе это было件ятно: он помнил свою молодость и выразил желание помочь нам. Решено было, что мы съездим в Петербург и там обвен-

чаемся в одной из петербургских синагог; папа объяснил в письме, обращенном к раввину, что родители не смогут присутствовать при церемонии, так как мама еще не вполне оправилась от последствий операции.

Под стареньким потертым балдахином я стояла в сером драповом пальто, с сумкой через плечо. Свидетелями были трое стариков-прихожан. В итоге в выданном раввином документе появилась моя новая фамилия (я сразу же в душе решила никогда не расставаться с моей девичьей фамилией и до сих пор блюду этот обет).

На следующий день мы вернулись в Линку: это был день рождения папы — 10 сентября по старому стилю. День был по-настоящему праздничным: рдели рябины, в золоте и пурпуре стояли осины и вязы. На столе возвышался традиционный крендель, уютно пел самовар, и мы чокались знаменитой маминой вишневой настойкой в честь двойного семейного праздника — именин и свадьбы. К маме медленно возвращались силы, и я никогда не чувствовала в ней такой примиренности с жизнью.

Предстоял отъезд. Путь лежал через Польшу. Решено было, что мы заедем в Люблин, к родителям Генриха. В доме Эрлихов, загроможденном старой, тяжеловесной мебелью, началась настоящая вакханалия оглушительного провинциального гостеприимства. Меня закармливали, задаривали, душили в объятиях; количество теток угрожающе росло с каждым днем. Родня ликовала. Рассеялись сомнения, что Генрих, единственный в семье социалист, еще чего доброго женится на «гойке»: притом я, хоть и бесприданница, была дочерью человека, пользовавшегося известностью. Заметив, что у меня начинается головокружение, Генрих решил ускорить отъезд.

Месяцы, проведенные в Мюнхене, вспоминаются мне теперь как вереница спокойных, непривычно беззаботных, легко протекаемых дней: ни личные, ни общественные бури, ни литературные волнения не нарушали нашей идиллии в старом живописном городе. Мы посвящали немного вре-

мени лекциям и чтению, но случайное знакомство свело нас с группой приезжей польской молодежи, студенческой и артистической, жившей полубогемной жизнью. В обществе новых знакомых мы нередко проводили веселые вечера в шумных кафе, увлекались поездками в горы и головокружительной ездой на салазках с крутых гор, часто бывали на карнавалах.

На костюмированном балу художников я фигурировала в греческом хитоне из голубого атласа: наш приятель, молодой архитектор, тайком стянул с парадной кровати своей хозяйки атласное покрывало и водворил его на место лишь по окончании бала в семь часов утра. Генрих наотрез отказался переодеваться, но друзья соорудили на его голове живописный тюрбан, сделавший его похожим на араба.

Мы мало задумывались над будущим, пока оно само не постучалось к нам: весной выяснилось, что я беременна. Это скорее нас смутило, чем обрадовало. Генрих хотел продлить наше студенческое житье. Теперь стало ясно, что пришло время возвращаться на родину.

Я провела две недели в Швейцарии, выступила с литературным рефератом в нескольких студенческих колониях, полюбовалась ослепительным блеском горных снегов и сказочной синью озер. Генрих уехал в Вену, на бундовскую конференцию. Мы встретились в Кракове, романтическом, старинном городе-музее, а потом уехали вместе в Линку.

Лето было в разгаре. Бродя по лесистым тропинкам, я вдруг почувствовала толчок: что-то внутри меня зашевелилось, и я поняла, что это ребенок, что он живой и уже живет во мне, и мне стало радостно, что я буду носить его в себе под этими елями, в этой благословенной лесной тишине.

Дни стали тихие, сосредоточенные, до краев наполненные ожиданием. Эрлих снова уехал на партийное совещание. Я не чувствовала одиночества, все учащались легкие толчки, всплывающие из потаенной глубины.

Осенью мы переехали в небольшую квартиру на Петер-

бургской стороне. Я расставила книги на высокой сосновой полке; моя библиотека увеличивалась, папа подарил мне много книг со своей «европейской полки», оставив себе только самые любимые. Я чувствовала, что моя походка заметно тяжелеет. Знакомые спрашивали, выбрала ли я уже имя для ребенка. Я отвечала, что мы назовем его Александром. «А если будет дочка?» Я убежденно говорила: «Дочки не будет!».

В морозный декабрьский день в немецкой клинике, на Васильевском острове, пришло на свет крохотное существо, для которого было предназначено имя двух поэтов. В календаре этот день был обозначен красной цифрой — день св. Александра Невского. Хлопотавшая возле меня акушерка и сиделка наперебой повторяли: «Ну, разумеется, это — Сашенька, молодец, знал, в какой день родиться». Им было невдомек, что у меня другие святцы.

Я лежала пластом, обессиленная недавними муками, когда сиделка положила на мою кровать маленький пакет — стянутого свивальником «Сашеньку» — крохотное существо со сморщенным красноватым личиком, непонятного цвета глазами и пухом темных густых волос на яйцевидной головке. Меня так потрясла миниатюрность этого тельца, его невероятная хрупкость и незащищенность, что я не могла удержаться от слез в затопившем меня приливе тревожной жалости. Это ощущение понемногу слабело, но следы его долго жили во мне, хотя я не умела найти для него слов.

Спустя несколько лет, уже после появления на свет второго ребенка, я попыталась высказать его в стихах:

Девушка, роди дитя
И станешь матерью миру,
И полюбишь, легко грустя,
Все малое, робкое, сирое...

В нашей полупустой, солнечной квартире книги, мои и Генриха, занимали целую стену. В соседней комнате стояла детская кровать, в ней под крылом деревенской старушкинани копошилось, сжимало смеженные кулачки и жалобно

плакало дитя, которое трудно было назвать взрослым именем. В первые дни я называла сына Космотяпом: у него была густая, мягкая шевелюра, ставшая коричневой.

Потом он стал Алей, Аликом, мне больше нравилось это сокращение. Когда он плакал по ночам, нося его на руках, я качивала его монотонной песенкой:

На лесной проталинке
Вырос цветик аленький,
То не цветик аленький,
А сыночек маленький,
Мой сыночек Алинька,
Беленький и аленький.

Под эту песню он засыпал, и я осторожно переключивала его в кровать, а дом наполнялся какой-то особенной, прозрачной тишиной, тише которой не бывает на свете. От бессонницы слегка кружилась голова, и казалось, что меня покачивает легкая, светлая зыбь. Я тихо засыпала, как мой сын: никогда еще не было во мне такой примиренности с жизнью. Длилось это недолго, надвигалась полоса исторических бурь.

* * *

1913-й год принес ощущение, что колесо моей жизни приняло совершенно ложный оборот. Произошло непредвиденное: сборник «Осенняя свирель» стал не символической, а настоящей надгробной плитой. И одновременно вошло в мою жизнь материнство, осветив ее неопределенным светом. Иногда мне казалось, что совпадение во времени конца и начала — не случайность, была в этом тайна, которую не дано было разгадать.

Заодно с первой полосой моей юности ушли из жизни Линки, подарившие мне «осенний тихий хмель». Мой любимый уголок перешел к новым владельцам, наша семья больше туда не ездила. Но мы не расстались с Финляндией и летом поселились ближе к Петербургу, в лесном поселке, Тюржеве. Родители заняли этаж небольшого дома. Возле веранды водворилась колясочка, и в ней в погожие дни во-

рочался, покряхтывая, выпрастывая из-под одеяла пухлые ножки, большеголовый мальчик, ставший средоточием жизни двух поколений. Веранду сторожили стройные сосны, по вечерам между ними простиралось багряное полотно заката, и трудно было оторвать глаз от этого зрелища. Я много часов оставалась одна. Генрих, работавший в большой петербургской газете, возвращался домой поздним вечером.

Яша заявил, что прервал работу — составление учебника по математике — потому что ему захотелось поближе познакомиться с племянником. Папа горячо одобрил это решение: он находил в своем внуке задатки будущей одаренности. Генриха в ту пору с нами не было: он уехал в Москву на съезд торгово-промышленных служащих.

Лесной уголок млеял в смолистом зное, на ступеньке веранды я читала газету, и мне в глаза бросилась небольшая заметка: московская полиция арестовала на квартире инженера М.Винавера группу участников нелегального съезда (позже выяснилось, что сведения о приехавших на съезд бундовцев сообщил провокатор Малиновский, вплоть до разоблачения игравший большую роль в среде большевиков). В списках арестованных я нашла имя мужа.

Начались семейные совещания. Меня тянуло в Москву, но о том, чтобы везти туда малыша, не могло быть и речи, а мой врач решительно заявил, что летом нельзя отнимать ребенка от груди. Дед и бабка были в неопишемом волнении, но брат их успокоил, он считал, что мне следует остаться в Тюржеве для хлопот в Петербургском департаменте полиции, а сам вызвался отправиться в Москву и взять на себя заботы об арестанте. Потертый чемодан, набитый книгами и рукописями, так и остался нераспакованным.

Николай Дмитриевич Соколов, известный политический защитник (после Февральской революции он прославился как автор приказа по армии № 1 и вскоре примкнул к большевикам) обещал мне постоянную помощь. Он советовал до-

бываться, чтобы Генриха выпустили до процесса под залог, и направил меня к адвокату Андреевскому, у которого были связи в Департаменте полиции. Несколько старомодный джентльмен, сочетавший профессии юриста и литератора, принял меня вежливо: «Вот, — сказал он, — внимательно меня разглядывая из-под насупленных бровей, — молодая леди. Стремление к свободе — это благое дело. Но как насчет супруга — признайтесь, к террору он не причастен? Я — человек мирный, протест уважаю, а бомб не люблю».

Я успокоила его, сказав, что мой муж — социал-демократ и не сторонник личного террора. Андреевский добродушно замотал головой и обещал содействие. Это обещание он сдержал: в начале осени Генрих вышел на волю.

Вернувшись домой, он рассказал, что Яша аккуратно являлся в тюрьму с подробным отчетом о политических событиях в мире (газеты в тюрьме не выдавали), и это очень скрашивало жизнь.

Вернувшись из Тюржева, мы поселились на тихой улице Петербургской стороны, неподалеку от Каменноостровского проспекта. Квартирка в недавно выстроенном доме была светлая, просторная, и я радовалась непривычному комфорту — лифту, центральному отоплению, горячей воде.

В соседнем флигеле того же типа поселились мои родители. Мама осторожно заговаривала о том, чтобы снять сообща большую квартиру, но я отклонила этот план, приведя неоспоримый аргумент: муж все больше втягивается в партийную работу, и нам постоянно грозил ночной визит полиции, и незваные гости могли бы попутно заинтересоваться богатым папиным архивом. Чтобы утешить маму, я обещала, что буду часто «одалживать» им малыша.

Наша квартира на Большой Монетной широко открыта была ветрам эпохи. Занимаясь профессиональной журналистикой, Генрих много времени и энергии отдавал общественной работе. Он был тесно связан с социал-демократической (меньшевистской) фракцией Государственной думы и нередко обращался ко мне с просьбой помочь ему в

этой работе. В составе фракции было несколько рабочих. В Польше польско-еврейский левый блок провел в Думу лодзинского ткача Владислава Ягелло. Это был серьезный и политически сознательный человек, но застенчивый и тяжелодум. Его постоянное пребывание в чужой среде удручало его, парализовывало энергию. Он нуждался в постоянной опеке, и мне пришлось взять его под свое крыло. Приходилось по многу раз втолковывать формулы парламентского обихода: вроде того, как «к порядку дня» или «по существу вопроса», которые он воспринимал как магические заклинания. Русский язык был для него чужим, он с мучительным усилием вызубривал тексты речей, но нередко спотыкался. Нелегко справлялись с парламентской терминологией и некоторые чисто русские члены думской с-д. фракции, например, делегаты из Донбасса. Они, однако, чувствовали себя увереннее и время от времени решались самостоятельно вставить в свою речь заученные иностранные слова.

Большое веселье вызвало на одном из заседаний утверждение депутата Михайличенко, что «между царем и народом стоят прерогативы».

Однажды, вернувшись с заседания думской социал-демократической фракции, Генрих сообщил мне, что принято решение выступить в думе с речью о еврейских погромах. Все сошлись на том, что выступать должен делегат с юга. Текст речи Генрих предложил написать мне.

Речей для самой себя я никогда не писала, предпочитая устную импровизацию, но теперь пришлось засесть за работу. Она была очень ответственной: надо было найти простые и четкие слова и во что бы то ни стало избежать соблазна риторики и псевдонародных оборотов.

Спустя несколько дней передо мной выросла нескладная фигура широкоплечего чубатого незнакомца с усами Тараса Бульбы и застенчивой улыбкой. Мы принялись разучивать написанную мной речь, но наедине оставались недолго: в кабинет вихрем ворвался малыш с обычным

боевым кличем «ку-маме», и мне пришлось продолжать работу, держа его на коленях. Мой гость растроганно покачивал головой: «Вот это я понимаю, это — семья: муж-товарищ, жена-товарищ, дитё-товарищ».

Дитё, впрочем, вело себя не совсем по-товарищески, бросая на гостя недружелюбные взгляды: сын не жаловал чужих людей, отнимающих у него мать.

* * *

После выхода в свет «Осенней свирели» я не скоро вернулась к своим тетрадам. Иссяк прежний источник моих стихов, ритм жизни замедлился. Иногда думалось, что я уже больше никогда не буду писать стихи. Однако я твердо знала: если снова начну писать, стихи будут иными — и по духу, и по форме. Я не ошиблась: когда после долгого перерыва стали снова меня тревожить сочетания слов, которые укладывались в ритмичные строчки, стихи стали строже, проще, более скупыми в наборе эпитетов.

Овладевшее мной стремление к простоте было не просто данью душевной зрелости, в нем слышался накал эпохи. Характер нового десятилетия определился не сразу, и было оно многозвучным, но с каждым днем все яснее становилось, что наступил закат символизма. Анахронизмом стали смутные предчувствия, бормотания о «ком-то», о «чем-то», безответственность эпитетов, а наивный эротизм балломонтовских призывов «упиться роскошным телом» перекочевал во второразрядные романы.

Поэты уходили от своих первых сборников, и впереди других был Блок, в свое время заплативший обильную дань символизму. Впрочем, переходя из одной стадии в другую, он не примкнул ни к какому литературному течению, и сам не создал школы. С каждым новым сборником менялись его лирические герои — от недостижимой Прекрасной Дамы до проститутки Катьки, «гулявшей с солдатом», но всех их заслонял монументальный образ России, возникший на фоне «испепеляющих годов».

Свое теоретическое обоснование разрыв с символизмом

нашел в программе акмеизма, требовавшего от поэтического творчества ясности, точных размеров, четких ритмов.

Признанным теоретиком группы молодых поэтов, уже занявших прочное место в литературе, был Гумилев.

Группа была разношерстной. Входящих в нее писателей разного ранга и стиля объединял, в сущности, только разрыв с недавним прошлым — Ахматова, Мандельштам, Городецкий, Кузьмин (предпочитавший называть себя «кларнетом») шли разными путями, и трудно было найти стилевую общность между четкой простотой акмеистического стиха и вдохновенным бормотанием юного Мандельштама.

Типичной чертой поэзии тех лет была разноголосица. Широко заговорила эстрада, и голосистые футуристы разных жанров принялись эпатировать публику. «Дыр-бул-шурь», однако, не были в состоянии выдержать состязание не только с рожденными «пожаром сердца» и бурными страстями молодого Маяковского, но даже с манерными романсами Игоря Северянина. А где-то поблизости от стана футуристов неожиданно раздался как будто задыхающийся в беде юношеский голос Пастернака, и рядом свободный, задорный, кипящий романтическим вызовом стих Цветаевой. Оба эти поэта были вне школ и программ, хотя Пастернак осознал это не сразу.

Стихи современников, «хороших и разных», врывались ветром в мою жизнь, но громче всего звучала заключительная фраза блоковского письма, которое я получила в ответ на посланный ему сборник «Осенняя свирель»: «А за книги надо отвечать жизнью».

Вскоре жизнь призвала многих из нас к ответу. Мы стояли, не сознавая этого, на пороге войны. Но странно: приближение революционных бурь не ощущали в ту пору не только «узники башни из слоновой кости», но и те, кто словом и делом, минуя препятствия, пытался разжечь «на горе всем буржуям» мировой пожар. О революции говорили многие, но вспыхнувший пожар был для всех неожиданностью.

Вскоре у меня родился еще один сын — мы решили наз-

вать его Виктором — «короткое звонкое имя», вполне интернациональное, под стать отчеству «Генрихович».

Шло время, и отдаленный гул орудий становился все внятнее. Общественная атмосфера стала меняться — в журналах и газетах все громче звучали голоса воинственного патриотизма. Ушел в армию Гумилев, Игорь Северянин неожиданно завопил: «И я ваш нежный, ваш единственный я поведу вас на Берлин». На эстраде большого концертного зала Анна Ахматова говорила нараспев:

Так молюсь за твоей литургией
После долгих мучительных дней,
Чтобы туча над темной Россией
Стала облаком в свете лучей.

Это были, впрочем, случайные звуки — ничто не напоминало бурную атмосферу второй мировой войны. Военная действительность не вдохновляла поэтов.

А когда громом грянула поэма Маяковского «Война и мир», появившаяся в печати только после революции, ее пафосом был протест против войны.

Тыл жил своей обычной жизнью, петербургские акмеисты и футуристы отсиживались в популярном литературном кабаре «Бродячая собака», где, по признанию Ахматовой, собравшимся было весело. В этой среде споры между литературными кружками вызывали большее волнение, чем отдаленный грохот орудий. Иначе, однако, воспринимали войну широкие круги интеллигенции. Возникшие в этих кругах патриотические настроения бурным потоком хлынули в публицистику, наводнив все влиятельные органы печати. Особенный военный пыл проявляла группа философов-идеалистов (в их числе были недавние легальные марксисты, которым категорический императив стал властно диктовать агрессивную панславистскую ориентацию и требование аннексировать Царьград).

В меньшевистско-бундовской среде, где я вращалась, господствовали оборонческие настроения, но глубоко засев-

ший в сознании «червяк пацифизма» не давал мне покоя. Кроме того, я чувствовала определенное отталкивание от «царьградского патриотизма». Нужен был толчок, чтобы сблизить меня с группой интернационалистов-циммервальдцев. Сближение это произошло на литературной почве.

После выхода в свет «Осенней свирели» я старалась привыкнуть к мысли, что больше не буду писать стихи. Я утешала себя тем, что работа над прозой может принести не меньшее удовлетворение. Но пришло время, когда мне стало ясно, что со стихами не покончено: то новое, что вошло в мою жизнь, стремилось обрести стихотворную форму. Так возник цикл «Мать». В первом моем сборнике было много невольных, неосознанных перепевов. Теперь я старалась найти свои слова, чтобы передать и спокойствие и тревогу материнства — чувств, которые лишь на первый взгляд противоречат одно другому. Писать было нелегко — я ведь привыкла к изощренности символизма.

Моему старому другу Ан-скому очень понравились стихи, и он посоветовал послать их Горькому, который в 1915 году стал основателем и литературным редактором журнала «Летопись».

«Летопись» была единственным большим печатным органом, который сквозь проволочные заграждения цензуры проводил во всех статьях принцип антивоенного интернационализма.

Познакомившись с циклом «Мать», Горький откликнулся письмом, которое меня очень обрадовало. Стихи ему понравились, и он сразу же сдал их в набор, предполагая напечатать в одной из ближайших книжек. Письмо заканчивалось приглашением зайти в редакцию для разговора о постоянном сотрудничестве.

Начавшееся общение с Горьким дало мне то, что давало оно десяткам других молодых писателей: новый стимул к литературной работе. Горький убеждал меня писать не только о детях, но и для детей (он был уверен, что это мне удастся), а кроме того, предложил систематически зна-

комить читателей «Летописи» с еврейской литературой — он увлекался рассказами Шолом-Алейхема и стихами Бялика. В ту пору он проявлял особенный интерес к проблемам русского еврейства — участвовал сообща с моим отцом и рядом других еврейских деятелей в оказании помощи евреям, высланным из прифронтовой полосы, был одним из инициаторов «Лиги борьбы с антисемитизмом».

Редакция «Летописи», в которой я была частым гостем, помещалась в одном из старых домов на Большой Монетной — тихой улицы Петербургской стороны, неподалеку от Каменноостровского проспекта. Мы жили на той же улице, наискосок от этого дома.

Мой первый визит в редакцию стал началом короткого, но богатого впечатлениями периода, оставившего в памяти глубокий след. Сознание, что я стала членом литературного коллектива высокого уровня, поднимало жизненный тонус. Редакция «Летописи» была клубом, в котором живо обсуждались события дня. В темных, прокуренных комнатах постоянно толпилась разношерстная публика; здесь можно было встретить и начинающего писателя, нервно мнущего в руках рукопись, и партийца, недавно вернувшегося из ссылки, и заводского рабочего, и типичного русского странника, беспокойного искателя правды: все ждали возможности завладеть вниманием редактора и поговорить с ним по душам.

Распахивалась дверь, и выходил Горький, провожая очередного гостя, иногда с признаками усталости на землистом лице, а иной раз просветленный, помолодевший от радостного возбуждения.

Мне довелось быть в редакции, когда из редакторского кабинета вышел невысокий еврейский юноша. Из-под больших круглых очков умно и пронзительно глядели глубоко запавшие глаза. Горький крепко жал ему руку на прощанье, а потом вернулся к нам с посветлевшим лицом: «Господа, — сказал он, — поздравьте меня, и я поздравляю вас. В нашу литературу пришел новый талантливый писатель».

Гостем был молодой Бабель, принесший в редакцию два новых рассказа, которые оказались неприемлемыми для других журналов.

Кульминационным пунктом нашей «клубной жизни» были собрания, в которых наравне с сотрудниками принимали участие некоторые активисты-интернационалисты, в том числе заводские рабочие. Предметом обсуждений были события дня. Гвоздем дискуссий был доклад Базарова, дававший блестящий анализ политической ситуации. Оригинальный философ, Базаров неизменно подчеркивал, что социал-демократам обеих групп необходимо объединиться, перешагнув через фракционные навыки. Не все с ним соглашались, но слушали с напряженным вниманием. Активным участником собраний был Суханов, в прениях пускавший в ход артиллерию широкой эрудиции и строго логических аргументов.

На очередном собрании, когда обсуждали содержание ближайшего номера, произошел характерный эпизод. Один из сотрудников внес предложение ликвидировать в журнале отдел беллетристики и превратить «Летопись» в чисто политический боевой орган. Аргументация сводилась к тому, что время теперь горячее, и рабочему люду «не до игр в бирюльки». Горький нахмурился и метнул в сторону оратора острый взгляд, но промолчал. Тогда поднялся сидевший в углу парень в расстегнутой поддевке. Голос его прозвучал веско и строго. Он заявил, что сам он рабочий, путиловец, сын и внук заводского рабочего и что люди его круга считают «Летопись» своим журналом:

— Как приходит новая книжка, собираемся мы по вечерам, и перво-наперво, читается у нас это самое «В людях» товарища Максима Горького. Потом книжка идет из рук в руки, пока не рассыплется. Это чтение поднимает наш дух, и мы долго промеж себя говорим, какие выводы нам сделать насчет нашей жизни. Так что никакие вам не бирюльки.

«Летопись» печаталась под суровым контролем военной

цензуры. Не избежал цензорского карандаша и мой лирический цикл. А.Тихонов, заведовавший отделом поэзии, показал мне корректуру: небольшое стихотворение «К сыну» было резко перечеркнуто крест-накрест. Толстой чертой подчеркнуты были слова: «если нужно — убей» и в следующей строфе «напрасным убийцей не будь».

— Мы пытались отстоять ваши стихи, и вот в каком виде их нам вернули. Алексей Максимович просит вас съездить в это звериное логово и переговорить с цензором с глазу на глаз.

Сухонький старичок в опрятном мундире востепенно узнав о цели моего посещения и сразу принялся меня утешать:

— Вижу, что вы особа молодая, неопытная и хочу вас предостеречь: вы начали печататься в этом журнале. Он долго не продержится. Правительство не потерпит распространения вредных идей. Советую вам перейти в более приличный орган. А стихотворения вашего я пропустить не могу. Ведь в этом журнале что оно означает? — Рванув у меня из рук корректуру, он принялся тыкать в нее карандашом. — Вот тут глядите: «Напрасным убийцей не будь»... Это в вашем журнале что же такое может значить? А очень просто: немца не тронь, он ведь тоже в младенчестве материнскую грудь сосал... А в другой строфе: «Если надо, убей». Тут и говорить нечего — известно, кого надо убить».

Когда я по возвращении в редакцию передала этот разговор Горькому, у него в глазах замелькали веселые искорки.

— Да он просто прелесть, ваш старичок. Жаль только, что вы не спросили его напрямик: позвольте, кого ж это надо убить?

Очень горячо принял цикл «Мать» мой старый друг Корней Чуковский, частый посетитель редакции «Летописи», уже в ту пору ставший любимцем детей и заодно с Горьким собиравший материал для детского сборника. Корнею Ивановичу особенно нравилось первое стихотворение, и как-то, когда я застала его в редакции, он приветствовал меня

торжественным жестом и с чувством произнес: «Кормлю ребенка на крыльце!» Я ответила ему при общем одобрении присутствовавших: «Никто вам в этом не поверит!»

Чуковский жил в это время в Куокалле и там часто встречался с Розановым. Розанову тоже понравились мои стихи, и он сказал Чуковскому: «Приведите ко мне эту библейскую женщину». Не скрою, что слова «библейская женщина» мне польстили, но я наотрез отказалась встретиться с Розановым: во время процесса Бейлиса он открыто заявил, что считает правдоподобным обвинение евреев в употреблении христианской крови для ритуальных целей. Чуковский покачивал головой: «Ну знаете, голубушка, это один из интереснейших людей нашего времени».

Известия с фронта будили тревогу, в редакционном «клубе» атмосфера становилась все горячее. На одном из собраний Маяковский прочел нам поэму «Война и мир». Помню, когда он поднялся с места, огромный, широкоплечий, в наглухо застегнутом свитере, резко вскинув голову с упрямым подбородком, и голос его, созданный для стадионов, прозвучал болью и вызовом, нам показались тесными стены редакционного кабинета. Возглас: «Русские, французы, евреи!» — рвался на улицу из наглухо закрытых окон...

Мы еще не подозревали, что очень скоро в эти окна ворвется вихрь революции.

* * *

В начале 17-го года из дверей аристократического особняка вынесли прикрытое темной шинелью мертвое тело человека, неразрывно связавшего себя с династией Романовых, и многие увидели в этом предвестие конца самодержавия.

Военные сводки и бытовые неувязки бросали на нашу жизнь унылую тень. Сокращение железнодорожного транспорта, вызванное нуждами войны, отрезало Петербург от хлебобродных губерний Юга и обрекло нас на хроническое недоедание. Со дня на день росли цены продуктов, и рос глухой рокот на рабочих окраинах. Начались забастовки на

заводах, перед хлебопекарнями выстраивались под ледяным ветром многочасовые очереди.

В метельные январские дни никому не сиделось дома. Я все чаще пыталась урвать время, чтобы заглянуть в редакцию «Летописи», окончательно превратившуюся в политический клуб. В прокуренной приемной с утра до вечера толпились люди, и секретарша Галина Константиновна Суханова со вздохом отодвигала в сторону пишущую машинку: о работе нечего было думать. Ее муж, Николай Николаевич горячился, пытаясь перекричать спорщиков. Он доказывал, что напрасно красавец-князь прикончил Распутина — связь лукавого попа разъедала ткань монархии, как сильно действующий яд.

Горький проходил мимо нас молчаливой тенью; его лицо с глубоко запавшими глазами и остро выпирающими скулами казалось серо-пепельным. Ему нездоровилось, как всегда, зимой, и грызла присосавшаяся к сердцу тревога.

В редакции стали появляться новые люди. Один из них был круглоголовый, беспокойный, неумолимый в спорах юноша в военной шинели, его звали Виктор Шкловский. Однажды мы с ним одновременно вышли из редакции и решили прогуляться. На дворе слегка мело; воздух был легкий, как в оттепель, и снежинки в свете фонарей казались розоватыми. Мы шагали по широкому Каменноостровскому проспекту. На мне была барашковая эскимосская шапочка с наушниками, недавно привезенная друзьями с Нижегородской ярмарки. Шкловский тоном, не допускающим возражений, заявил, что я должна постоянно носить эту шапочку. Я спросила: «Даже летом?» Он подтвердил: «Да, постоянно!» Что-то детское было в его упрямстве. Таким же запелляционным тоном говорил он о литературе. Мы заговорили о современных поэтах. Он увлеченно перевозносил Хлебникова. Мне пришлось признаться, что стихи Хлебникова не вызывают во мне энтузиазма. Ядовито усмехаясь, он пробормотал: «Ну ясно, на первом месте у вас Блок!» Когда я это чистосердечно подтвердила, он прошипел: «Ваш

Блок вырос из цыганского романа». Я возразила: «Важно не то, из чего он вырос, а до чего дорос».

В конце концов нас помирила розовая метель. Мы не успели поговорить о политике. Шкловский, кажется, в ту пору сочувствовал эсерам; мне, однако, передавали, что спустя полгода он оказался в отряде, который водворил Ленина в особняк Кшесинской, ставший большевистским штабом.

Новый год мы встречали в состоянии напряженного ожидания перемен. В их неизбежности никто не сомневался, но никто не предвидел, что они примут масштаб переворота — этого не предвидели и те, кто отдавал все силы подготовке революции.

То, что произошло в конце февраля 1917 года, было сплошной импровизацией, цепью непредвиденных движений народной воли. В ту пору никому не приходило в голову, что под давлением этой воли может сразу рухнуть, как карточный домик, казавшееся таким прочным неуклюжее, громоздкое здание самодержавия.

Как это все началось? В серое, морозное утро к центру столицы стали стекаться огромные толпы людей. Шли люди с Выборгской стороны, с Васильевского острова, из-за Нарвской заставы — рабочие в поддевках, женщины в платьях, интеллигенты в барашковых шапках. Надписи на плакатах были простые: они требовали хлеба, мира, иные — свержения самодержавия...

Правительство попыталось прибегнуть к испытанному способу — была вызвана полиция и казаки, плакаты на заборах грозили расстрелами. Кое-где началась стрельба в толпу, и были жертвы, но людской поток неудержимо рос. Наконец, для усмирения бунта был вызван Павловский полк, но павловцы отказались стрелять в народ. Это превратило бунт в революцию.

Начался стремительный, ошеломляющий бег событий: возникновение Совета рабочих депутатов, ставшего властью, фактическое, а потом и формальное низложение самодержавия. Шла политическая импровизация, в которой но-

вое причудливо переплеталось со старым. Правду говоря, никто толком не знал, как надо жить в дни революции, но мы жадно дышали воздухом перемен. Петербургская сторона, где в ту пору жила наша семья, находилась в отдалении от центра событий.

Центром сразу стал Таврический дворец, где обосновался Совет рабочих и солдатских депутатов. Генрих стал членом Исполкома Совета и проводил в Таврическом дни и ночи. В течение дня он несколько раз звонил по телефону, сообщая краткие сведения о политических событиях. Людям, не связанным непосредственно с этими событиями, приходилось жить слухами. В столице в течение ряда недель царил хаос: не курсировали трамваи, не выходили газеты. Наша квартира стала для соседей информационным пунктом. То и дело хлопала никогда не закрывавшаяся дверь, просовывались головы: «Ну что же там решили, в Совете?»

Этот вопрос часто слышался и на улицах, где постоянно собирались кучки людей. Люди читали расклеенные на заборах извещения Совета и постановления Временного правительства. Мимо проносились моторизованные платформы с вооруженными солдатами и матросами. Нередко раздавались выстрелы — шла расправа с чинами полиции. Те иногда отстреливались по-снайперски, засев за трубами на крышах. Стрельба, ставшая привычной, не нарушала густого уличного движения. Людям не сиделось дома, они чувствовали, что улица теперь принадлежит им.

Политика владела умами, и все больше укреплялось убеждение, что судьба страны решается в Совете. Сосед, старый холостяк, причислявший себя к «сочувствующим», осторожно стучался ко мне и смущенно признавался: «Знаете, я что-то стал немного побаиваться этого Совета — успокойте меня». Таких голосов было немного, но они становились слышнее день ото дня.

Меня неудержимо тянуло в Таврический дворец, где дышалось воздухом новой действительности, но жителям на-

шего отдаленного района нелегко было туда добраться. Трамваи не ходили, улицы были завалены сугробами. Но все же время от времени я отправлялась в далекий путь и всякий раз, войдя в переполненный, пропахший махоркой зал, ощущала повышение душевной температуры. В зале стоял густой, слитный гул. На трибуне обычно надрывался Чхеидзе. Но его мало кто слушал. Люди приходили не слушать речи, а утверждаться в своем праве управлять страной и чувствовать, что Россия — это они.

Запомнилось мне собрание в Таврическом дворце, на котором выступал с речью Горький. Его долго уговаривали выступить: кому же, как не автору «Буревестника» пропеть теперь гимн «грянувшей буре»? Горький долго отказывался, ссылаясь на физическую слабость, но в конце концов согласился. Когда на трибуне появилась высокая фигура, знакомая по портретам многим тысячам людей, обрушилась лавина аплодисментов; писатель слегка ссутулился под их тяжестью: они были не только приветствием, но и требованием. Люди, сгрудившиеся вокруг трибуны, ждали только слов о грянувшей буре, а Горькому хотелось говорить о другом. Натужным, глуховатым голосом он заговорил о том, что революция отдала в руки народа бесценный дар — произведения искусства, здания и памятники, созданные вдохновенными творцами, и народ должен сохранять их от разрушения и нетронутыми передать детям и внукам.

Слова падали в тишину, как камни, мне казалось — не вызывая отзвука. На некоторых лицах читалось недоумение. Когда Горький умолк, в разных концах раздались вежливые, нерешительные аплодисменты.

Дни шли. Пламя, вспыхнувшее в столице, перекинулось в другие города. Трещали старые скрепы, выходила из берегов стихия, начались жестокие самосуды — солдаты и матросы мстили за многолетние обиды.

Однажды ранним утром в нашей квартире раздался резкий звонок, и я не сразу узнала в бледной женщине, повязанной старушечьим платком, младшую сестру мужа, еще

недавно энергичную, бойкую и веселую молодую женщину. Позади нее стоял ее муж, сгорбленный, в картузе, с надвинутым на глаза козырьком, и пожилая няня с ребенком на руках. Вслед за ними вкатились в переднюю узлы и чемоданы. Оказалось, что семья приехала на крестьянской телеге из Кронштадта, где шуриин работал военным врачом и где, по его словам, идет беспощадная расправа матросов с флотским начальством. Передавали, что адмирала Вирена, отличавшегося, якобы, особой жестокостью, матросы попросту разорвали на части.

Когда я осталась с Эвой наедине, она рассказала мне, что муж ее из соображений карьеры принял лютеранство (она сама осталась еврейкой) и окрестил сына. Крестным отцом ребенка был адмирал Вирен.

Я рассказала Генриху об этом лишь после того, как неожиданные гости, прожив у нас несколько недель, уехали из Петербурга: Генрих и без того не жаловал шурина и тяготился его пребыванием в нашем доме.

С самосудами трудно было мириться; все мы были потрясены, услышав о том, что матросы убили находившегося в больнице кадетского деятеля Кокошкина. Горький ринулся к Ленину, но тот развел руками: дело было сделано, и еще не пришло время укрощать стихию.

У всех перед глазами стоял пример французской революции. Нами владел соблазн исторических аналогий. Споры между жирондистами и якобинцами казались прототипом раздоров в советских верхах.

Распри шли по разным линиям — между Советами и Временным правительством, между меньшевистско-эсеровским большинством и большевистским меньшинством и наконец в самой среде меньшевиков — между оборонцами и интернационалистами. Иногда даже казалось, что чем люди были идейно ближе друг к другу, тем ожесточеннее становились споры.

Мне вспоминается меньшевистская конференция, состоявшаяся вскоре после приезда Мартова из-за границы.

Бледно-пепельное лицо Мартова, его срывающийся на высоких нотах петушиный голос в неистовом споре с оборонцами. Я знала, что Мартов болен — было боязно, что он может начать задыхаться.

Генрих рассказывал о бурных столкновениях в Исполкоме и часто возмущался резкими выпадами Троцкого, которые считал он демагогическими, но как-то отметил, что Джугашвили (тогда он еще не стал Сталиным) произнес содержательную речь.

Я привыкла к резкости прений — иначе в партийных кругах спорить не умели, но иногда становилось тяжело на душе. В непрерывной грызне тонуло ощущение, что мы вступили в новую эру. Вероятно, это чувство разделяли многие, поэтому день похорон, когда жертвы революции были преданы земле на Марсовом поле в присутствии несметных толп, переживался людьми не как день траура, а как праздник единения. Ошеломляло зрелище бесконечных стройных колонн, которые двигались со всех концов города, из всех окраин, окружая могилу в торжественном молчании. Говорили, что в этот день на Марсовом поле перебивало около миллиона человек; английский дипломат, наблюдавший шествие с балкона, утверждал, что Европа не видела ничего подобного.

Вероятно, никогда в жизни я не переживала с такой силой крепящего дух ощущения братства. Приближаясь к могиле, я заметила в поровнявшейся с нами колонне знакомую голову с седыми разметанными ветром волосами. Старый друг Семен Акимович Ан-ский, с которым я давно не виделась, заметив меня, вышел из рядов. Пожилая женщина в платке, шедшая рядом со мной, сказала: «Впустим седого». Наш ряд раздвинулся, мы с Ан-ским взяли за руки, как дети, и зашагали под мартовским ветром в толпе незнакомых, но близких людей; этот ветер на всем божьем свете казался нам вестником весны.

Люди моего круга, однако, с тревогой следили за зигзагами революции, и особенно за деятельностью большевиков.

Отец, встретивший ликвидацию самодержавия с энтузиазмом, становился с каждым днем тревожнее. Его смущали трения между Советом и Временным правительством, удручала антиномия войны и революции, и он признавался, что ищет успокоения в работе, которая уводит его из апокалипсиса современности в апокалипсис времен христианства.

Вскоре после переворота из моей жизни выпал элемент, который я очень ценила — постоянное общение с кругами «Летописи». Придя в редакцию впервые после бурных февральских дней, я сразу почувствовала перемену. Не хватало многих сотрудников: Суханов стал членом Исполкома. Галина Константиновна тоже проводила большую часть времени в Таврическом дворце. Она очень подружилась с моим мужем, но они вели яростные споры, и, когда он шутя предлагал ей мир «без аннексий и контрибуций», она упрямо заявляла, что намерена вести с ним «войну до победного конца».

Горький редко бывал теперь в редакции, и его отсутствие очень чувствовалось. Люди слонялись из угла в угол или присаживались на кончик стула, готовые сразу сорваться с места. После того, как вышла последняя книжка «Летописи» — единственная, не искаженная цензурой, на общем собрании сотрудников было решено прекратить издание ежемесячника, не отвечающего требованиям лихорадочной эпохи, и начать издавать ежедневную газету. Так возникла «Новая жизнь», ставшая органом циммервальдцев.

Вероятно, в бурные эпохи человеческая впечатлительность притупляется: все мы стали понемногу привыкать к необычному. Однако в начале апреля произошло событие, взволновавшее все круги общественности, хотя его значение мы оценили не сразу, — приехал из-за границы Ленин.

Генрих провел этот день, как обычно, в Таврическом дворце. Под вечер до меня докатились слухи, что Ленина встречали огромные толпы, и он, выйдя из вагона, произ-

нес речь, которая вызвала энтузиазм среди масс слушателей, но озадачила пришедших его встречать официальных представителей Петроградского Совета и некоторых из ближайших товарищей. Потом наступил триумфальный въезд Ленина в особняк, который отныне стал штабом революции.

Я ждала дополнительных сведений. Было уже поздно, когда резкий звонок возвестил приход гостей. В переднюю не вошли, а скорее ворвались двое — Надя Гринфельд и Либер. Я услышала слова: «Это — катастрофа!»

С Надеждой Гринфельд я сдружилась за последние месяцы. Это была красивая, статная, темпераментная и разносторонне одаренная женщина, одна из тех беспокойных натур, которым нелегко нести бремя своей одаренности. Она вращалась в бундовских и меньшевистских кругах, строго блюдя оборонческую линию, часто выступая на митингах, пользовалась популярностью у кронштадских матросов. Она, впрочем, не пыталась соперничать с бундовским демосфеном Либером, который считался в Совете депутатов чуть не лучшим оратором — не уступал ему только Троцкий.

Однажды Либер пришел к нам в полдень, после выступления в цирке Чинизелли, и рассказал, что слушатели устроили ему оглушительную овацию и что матросы его так качали, что у него закружилась голова. Я спросила: «О чем вы говорили?» Он оторопело ответил: «Не знаю... Я заговорил... а потом меня как будто несло волной... Не знаю... Ничего не могу вспомнить...» Я поняла: его речь была импровизацией — на него «накатило».

Теперь мои гости ринулись в кабинет и, перебивая друг друга, принялись бросать отрывочные фразы, передававшие не столько содержание первой речи Ленина, сколько ее характер. В его словах, обращенных к рабочим и солдатам, они почувствовали присутствие динамита, способного взорвать то здание, которое с таким трудом, с такими усилиями пыталось возвести на развалинах самодержавия

социалистическое большинство Совета. С трудом верилось: человек, проживший долгие годы в эмиграции и не переживший первого периода революции, ступив на родную землю, в первую же минуту нашел кратчайший, прямейший путь к петроградским массам и заговорил их языком о мире, хлебе и земле. И не перестал об этом говорить. Перед балконом дома, где он поселился, начался непрерывный митинг с участием единственного оратора. Этот оратор решительно отверг утверждение, что революцию, совершенную рабочими и солдатами, следует считать буржуазной, и, не колеблясь, заменил формулу «мира без аннексий» требованием сепаратного мира на любых условиях.

Вскоре он развил свои взгляды в так называемых «Апрельских тезисах», установивших не только фактический, но и формальный разрыв с социал-демократией.

Для меня было неожиданностью, что в числе слушателей Ленина оказался и мой пятилетний сынишка. Однажды вернувшись домой с прогулки, он заявил, что не хочет Константинополя (это слово он переименовал, но я поняла) и проливов. На мой недоуменный вопрос он ответил убежденно: «Они нам не нужны, это дядя сказал». Было ясно, что он побывал возле дома, где поселился Ленин, куда его повела смущенная молодая няня, соблазненная перспективой познакомиться с каким-нибудь солдатом или матросом. Было нетрудно себе представить, что гипноз «дядиных речей» действовал на взрослых с неменьшей силой, чем на моего малыша...

После приезда Ленина распри в верхах Совета стали еще более ожесточенными.

Последним народным праздником, когда многим удалось преодолеть смятение чувств, был день Первого мая. Весна подарила нам чудесное солнечное утро, и на улицы вышел весь Петербург. Огромная площадь Марсова поля, кипевшая народом, была уставлена трибунами разных партий. Играли на солнце красные полотнища с первомайскими лозунгами, и только над трибуной анархистов развевалось черное зна-

мя. Мы отправились на Марсово поле всей семьей. Красный бант красовался на пальто отца; мальчики радовались, что они тоже, как большие, носят красные банты. С Невы доносился легкий треск ледохода — таяли на солнце последние льдины, и так страстно хотелось, чтобы ничто не омрачило весеннего праздника...

Спустя несколько лет, уже живя в разлуке с родиной, я вспомнила этот день:

О далекое Первое мая
Мост, взгудевший весенним народом
Нева, Нева золотая
Под вздувшимся ледоходом

Сквозистые на солнце обломки
Уносились в пене и брызгах
Лед беспомощный был и ломкий
Как свобода твоя, отчизна...

Приближалось лето. Мы решили вывезти детей из пыльного города, где продукты добывались все с большим трудом. Я поехала с мальчиками на балтийское побережье, в небольшой эстонский курорт Силомячи. Вскоре к нам присоединились мои родители. Генрих собирался за границу. Исполком Петроградского Совета принял решение созвать международную конференцию социалистических партий с целью осуществления мира без аннексий и контрибуций. Генрих был избран членом делегации, в которую входило еще двое — эсер и большевик.

Я окунулась в тишину приморского поселка, показавшуюся мне почти неправдоподобной. По утрам мы набрасывались на газеты, но отдаленность смягчала отголоски тревог. Шумел прибой, звенели голоса детей, оживших под ветром и солнцем. Отец принимал живое участие в детских играх, но, вернувшись с пляжа домой, впадал в тоску. Запись в дневнике гласила: «Война губит революцию, революция губит войну, возможно, что мы одинаково плохо кончим и ту и другую».

Тишина приморского поселка показалась зловещей, когда вдруг перестали приходить газеты из Петрограда. На вокзале нам сообщили, что поезда не ходят, и это усилило тревогу. Вскоре появилась моя приятельница соседка по дому Берта Л. Какой-то военный, сжалившись над ней, привез ее на грузовике.

Она рассказала волнующие новости: в Петрограде вспыхнуло вооруженное восстание, возглавленное кронштадтцами и направленное против Временного правительства. Полк, вызванный Керенским, выступил против восставших; мостовые столицы обагрились кровью. Идет расправа с большевиками, организаторами восстания; многие арестованы; толпа разгромила типографию, где печаталась «Правда».

нацие* кадетской «Речи» сенсационное сообщение, что поездка Ленина в Россию была организована и оплачена германским военным штабом.

Вскоре после того, как мы опомнились от этих неожиданностей, наступила новая тревога. В конце августа мы оказались отрезанными от столицы. Выяснилось, что генерал Корнилов, недавно сдавший немцам Ригу, движется со своей армией на Петроград, надеясь установить во взбаламученной столице военную диктатуру.

Мы просиживали часами на маленьком провинциальном вокзале; железнодорожники приносили слухи, что население столицы, и в первую очередь рабочие, готовятся дать отпор корниловцам и что правительство во главе с Керенским приняло меры, чтобы преградить путь мятежным войскам. В конце концов мы дождались известия, что военный заговор удалось ликвидировать. Многие отряды распались, другие были задержаны в пути.

Едва железнодорожное движение возобновилось, мы вернулись в Петроград. Нас ждал возвратившийся из-за границы Генрих. Он вернулся в подавленном настроении: план созыва международной социалистической конферен-

*Так напечатано. Д. Т.

ции в Стокгольме оказался неосуществимым. Часть западных социалистов поддержала политику правящих сфер; некоторые правительства отказали во въездных визах членам социалистических партий.

Между тем становилось яснее с каждым днем, что Россия уже не в силах воевать. Со всех фронтов приходили вести о развале и анархии. Росла анархия и на всем необъятном пространстве страны. Спустя много лет я писала в биографии моего отца: «Революция углублялась — в этом была ее неумолимая логика. В то время как выдающиеся юристы, запершись в кабинетах, тщательно шлифовали параграфы избирательного закона, по пыльным и топким дорогам необъятной страны брели с запада на восток вереницы людей в обшарпанных шинелях, с обожженными ветром лицами — ключья расползающегося фронта. Их встречало дымное зарево, стоявшее над помещичьими усадьбами. Деревенский люд решал вопрос о земле, не дожидаясь Учредительного собрания. Революция шла по стране красным петухом, разгромами винных погребов, беспощадным самосудом матросов и солдат, мстивших за свои многолетние обиды».

Эту революцию трудно было принять рядовому интеллигенту, даже если он и был социалистом. Поэтому мы были так ошеломлены, когда ее принял нежнейший, тончайший, выросший из соловьевской метафизики поэт, и под его пером наступило второе явление Христа в русской литературе. Это был не тютчевский Христос, исходивший родную землю в рабском виде, а Христос, идущий во главе отряда красногвардейцев.

Вспоминая последние месяцы 17 года, я с горечью чувствовала, что мы барахтались в ту пору в паутине иллюзий. Мы ругали без умолку большевиков, но как-то не успели заметить, что их влияние невероятно возросло в народных массах после корниловского бунта. Не отдавали мы себе отчета и в том, что этот бунт, вспыхнувший спустя полгода после февральской революции, вверг страну в пучину гражданской войны.

Атмосфера в столице сгущалась с каждым днем. Шли непрерывные собрания в Смольном, куда перекочевал Совет рабочих депутатов, толпы переполняли цирк Чинизелли и Народный дом на Петербургской стороне, где гремел Троцкий. Его пламенное красноречие электризовало слушателей. В зажигательных речах он громил министров-капиталистов, требуя передачи всей власти Советам.

Генрих возвращался с заседаний Исполкома хмурый и встревоженный. Однажды — это было, по-видимому, в начале октября — он рассказал, что ночное заседание в Смольном было особенно бурным. Было объявлено, что петроградский гарнизон постановил признать Совет рабочих депутатов единственной законной властью, а недавно организованный военно-революционный комитет — высшей военной инстанцией.

Смольный в ту пору напоминал военный лагерь — он был переполнен толпами вооруженных людей. Сообщение о создании военно-революционного комитета вызвало волнение, но, по-видимому, не сразу привело к прямой аналогии с февральскими днями, когда Петроградский гарнизон низверг самодержавие. Аналогия, однако, не заставила себя ждать. Когда перед жителями столицы встало хмурое утро 25 октября, до нас докатилась весть о том, что по приказу военно-революционного комитета вооруженные отряды солдат, матросов и рабочих заняли мосты, вокзалы, почту и телефонную станцию. В 10 часов утра появились плакаты, возвестившие о свержении Временного правительства и переходе всей власти к Советам.

То, что я пишу, — не история, а горсть воспоминаний. Нелегко воскресить в памяти душевные переживания отдаленной поры. Отчетливо помнится, однако, что я восприняла происшедшее, как удар обухом по голове, пусть не вполне неожиданный, но оглушительный...

В поздние вечерные часы до нас доносились глухие отзвуки отдаленных залпов: кронштадтский крейсер «Аврора» обстреливал Зимний дворец, в котором шло заседание ми-

нистров. Эти залпы говорили еще выразительнее, чем плакаты, что началась новая эра.

Смольный, торопившийся возглавить эту эру, превратился в огромный кипящий котел. Снова съезжались с разных концов страны делегаты Всероссийского съезда советов. Меньшевики и эсеры (кроме левых эсеров) на специальном заседании постановили бойкотировать этот съезд. Это решение было продиктовано желанием бойкотировать большевиков.

После октябрьского землетрясения, казалось нам, наступила полоса, когда ближайшие политические перспективы заволокло туманом. Жестокой реальностью оставалась растущая бесхозяйственная неурядица, быт менялся на наших глазах, учащались тревожные признаки анархии. Столица наводнена была беглецами с фронта и матросами, которых пьянило ощущение, что «все дозволено». Стало небезопасным ходить по улицам в ночное время. Людям, выходящим из дома в шубе, не раз приходилось возвращаться без верхнего платья, стуча зубами от холода. Это бытовое явление было ярко представлено в горько-ироничной книге «Цех трущоб».

Пришлось испытать капризы новой жизни и одной из моих приятельниц. Как-то возвращаясь домой в морозную ночь, она наткнулась на группу людей в шинелях, гревшихся у костра. От группы отделились солдат и матрос. Подойдя к ней, они решительно потребовали: «Скидай шубу!». По-видимому, в душе матроса что-то дрогнуло при виде тонкой фигуры, согнувшейся под порывами ледяного ветра, и он сказал солдату: «Отдай ей свою шинель!» Придя домой, моя приятельница нашла в кармане солдатской шинели солидную сумму денег — по-видимому, плод другой недавней «экспроприации»

Подобные акты свершались не только на улицах. Нередко случалось, что вооруженные люди врываются в частные квартиры и, производя обыск, уносили ценные вещи. Полиция бездействовала.

Большие надежды в те дни возлагали мы на Учредительное собрание, которое было назначено на начало января. Голосовать мы шли с сознанием исторической важности этого шага. Я голосовала за меньшевиков, отец, немного поколебавшись (сердце его лежало к народным социалистам — к небольшой группе Мякотина) решил голосовать за кадетов.

По мере того как приближался день 5 января, в кругах передовой петербургской интеллигенции, к которой примыкали и некоторые группы сознательных рабочих, все большую популярность приобретала идея массовой демонстрации, ее целью была поддержка нашего первого свободного парламента. Колонны демонстрантов должны были двинуться с разных концов города к Таврическому дворцу.

Утром 5 января я отдала детей родителям и отправилась на сборный пункт моего района. Настроение было торжественное, но где-то под спудом таилась неопределенная тревога. Кое-кто затягивал старую революционную песню, песня вспыхивала и умолкала. Люди шагали с оглядкой по сторонам. Когда мы оказались в районе Литейного, поползли слухи, что где-то неподалеку, в засаде, сидят вооруженные солдаты и матросы. Мы продолжали шагать ровным шагом и для бодрости запели песню погромче. Когда вошли в Шпалерную с пением «В царство свободы дорогу грудью проложим себе», до нас долетела быстрая дробь стрельбы. Ряды дрогнули, но продолжали медленно двигаться вперед, и вдруг я услышала истерический женский крик: «Не стрелять! Не стрелять!». Неподалеку от нас матрос в бескозырке, сдвинутой набекрень, целился в демонстранта — бородатого старика. Крики и звуки выстрелов стали раздаваться с разных сторон. Я почувствовала, как чьи-то сильные руки толкнули меня на тротуар и втащили в полутемную подворотню, где уже кучками стояли люди. Высокий, хмурый человек, по-видимому, управляющий до-

мом, шагнул к воротам, задвинул железную скобу и сказал, обращаясь к нам: «Пока стреляют, никого не выпущу, ну, а потом — скатертью дорога!»

Я вернулась домой в сумерках. Навстречу мне ринулась бледная, как полотно, мама — говорить она была не в силах. Отец сказал, что до них дошли вести о том, что матросы загородили путь к Таврическому дворцу и стреляли в демонстрантов — есть убитые и раненые. Аля, выглядывавший из-за спины деда, деловито осведомился, не попала ли в меня пуля.

Бесславная смерть Учредительного собрания породила в нашей среде ощущение бессилия и безнадежности. И неожиданным порывом ветра прорвался через осевшую в сердцах унылую мглу голос долго молчавшего Блока.

Вспоминаю, как замирало сердце, когда я держала в руках лист лево-эсеровской газеты «Знамя труда», где напечатаны были «Двенадцать». Мы услышали, что Блок не проклял, а сделал апостолами людей «без креста» с австрийскими ружьями и заодно с ними пропел отходную старому миру. Я могла не верить плакатам. Но как было не поверить стихам, таким стихам?

Я не делилась смятенными мыслями ни с кем из окружающих — знала, что отклика не найду. Новая действительность отвергалась ими безоговорочно. Мы мечтали об окончании войны, но сурово осудили брестские переговоры, создавшие ситуацию «ни войны, ни мира». Между тем затянувшаяся война развалила весь хозяйственный аппарат. Большинство профессиональной интеллигенции отказывалось работать под эгидой новой власти, проводя политику бойкота.

В конце января я получила приглашение прийти в учреждение, которое заведовало продовольствием столицы. Подпись под письмом была мне незнакома. Когда я пришла по указанному адресу, выяснилось, что автором письма был человек, с которым я встретила в Гомеле в 1905 году. Звали его тогда конспиративным именем «товарищ Лева».

Он провел тогда в моей благонадежной квартире несколько часов перед побегом за границу, и с тех пор мы больше не встречались. Вероятно, уже в ту пору он был большевиком, но мы не беседовали тогда о политике, а взахлеб читали друг другу стихи. Теперь наш разговор носил деловой характер — мне предложена была ответственная работа в организации, которая должна была регулировать снабжение продовольствием детей.

Мой собеседник говорил со мной мягким, дружеским тоном, он сказал, что читал мои стихи в «Летописи», и они ему полюбились. Пришлось, однако, ответить, что мне придется отклонить его предложение вследствие отсутствия организационного опыта, а прежде всего по принципиальным соображениям. «Товарищ Лева» (я продолжала так его мысленно называть) покачал головой, невесело улыбнулся и сказал, что мои политические взгляды ему известны, но он попросту думал, что желание поработать на пользу детей перевесит другие соображения, недаром я ведь писала: «Страшная сила в горестном зове детских беспомощных рук...»

Он не собирался причинять мне боль, но я съезжилась, словно под ударом. Сказать было нечего. Я возвращалась домой, как в тяжелом сне...

Я много времени проводила теперь с детьми. Аля был нервный впечатлительный мальчик, волнение взрослых ему немедленно передавалось, а мы не всегда умели сдерживаться. Витя был спокойнее, умел дольше оставаться один. Я знала, что нужна была обоим моим мальчикам, а также твердо знала, что они помогают мне жить. В моей тогдашней тетради были такие строки:

Страшен уличный чад кровавый...
Спрячу сердце в ласковый плен.
Темноглазый, смуглый, кудрявый
У моих играет колен.

Крики боли острые, злые
Только тонким ручкам унять...
Заслони же мою Россию,
Помешай ее проклинать...

Я часто отводила детей к родителям, — и там каждая встреча была радостной. Мама умудрялась печь фантастические лепешки из чего-то, чему не было названия. Сама она почти отвыкла от еды, но по целым часам что-то толкла в ступе, жарила на каком-то загадочном жиру. Я ела всегда наскоро, гурманом я никогда не была, с детства была приучена к простой пище (только сладости любила — был такой грех) — теперь же с тоской думала, как обедняют жизнь вечные заботы о еде.

Генрих возвращался из редакции газеты, в которой вел отдел заграничной хроники (газету эту, впрочем, вскоре закрыли), ложился на диван и долго лежал с закрытыми глазами, а потом жаловался, что трудно собрать мысли, когда сосет под ложечкой от голода...

Мы приносили из очередей малосъедобную твердую воблу, которую надо было долго стегать по столу, чтобы размягчить. Когда окна были открыты, отовсюду раздавался равномерный стук — как будто молоточком по гвоздям: люди стучали воблой об стол, пытаюсь превратить сухие рыбные дощечки во что-то съедобное.

Генрих съездил в Москву на меньшевистскую конференцию, я спросила его о результатах. У него был грустный вид, и он молча положил на стол мешочек, в котором оказалось несколько фунтов ржаной муки. Потом сказал мне, что во время жарких прений сосед наклонился к его уху и конфиденциально сообщил, что где-то на окраине Москвы можно приобрести немного муки, конечно, по спекулятивной цене.

Я вспоминала свидание с «товарищемлевой», глядя на детей, на их потускневшие глаза, худые ручонки. Бывали дни, когда они ходили за мной из комнаты в комнату, мо-

нотонно повторяя: «Мама, я уже говорил, что мне очень хочется есть».

Многие семьи покидали столицу, уезжали на юг, вглубь страны, иные разъезжали по окрестным деревням, обменивая предметы обихода на продукты. Мы продолжали жить со дня на день в пассивном ожидании каких-то перемен.

В начале лета пришло письмо из Польши, проделавшее сложный путь — оно шло через нейтральную Швецию. Отец мужа писал, что Люблин очутился во время войны в зоне австрийской оккупации. Город не пострадал, военные власти никого не притесняют, паровая мельница работает в три смены, в продуктах нет недостатка. Между тем люди, приехавшие из России с легальными пропусками, сообщают, что в Петрограде голод и безработица. Письмо заканчивалось настойчивым приглашением приехать всей семьей в родительский дом.

Оно показалось нам вестью из другого мира: мы были частью России; разоренная войной, разрухой, анархией, она владела всеми нашими помыслами и чувствами — разве можно оторваться от нее? Вскоре, однако, пришла очередь трезвых размышлений. Мы пришли к убеждению, что месяц, проведенный в обстановке, далекой от наших постоянных неурядиц, поставит на ноги детей, а потом ничто нам не помешает вернуться домой. Мысль о далеких перспективах — политических и личных — мы отодвигали от себя: где-то на дне души таилась неопределенная надежда на перемену к лучшему.

Мои родители с болью в сердце одобрили план нашей поездки в Польшу. Меня неотступно мучила мысль, что, увозя детей, мы отнимаем у них единственную радость, и я бродила по дому, как потерянная.

Генрих принялся хлопотать о пропуске, ссылаясь на то, что он уроженец Люблина. Мы сразу решили взять с собой только самое необходимое.

Лето было пыльное, знойное. В кучах мусора, валявшихся на тротуарах, настойчиво рылись в безнадежных поисках

съестного облезлые, бездомные кошки, оглашая воздух злобным мяуканьем. В зажиточных домах осторожно жевали жесткую конину и за обедом острили: лошади поданы! Отец ходил с колясочкой за пайком для научных работников, а мама пекла из темной муки коржики для внуков. Жизнь текла со дня на день медленными мутными каплями.

В августе были получены пропуска для семьи из четырех человек. Ехать предстояло теплушками по неопределенному маршруту, ведь ехали мы на Запад, а там в отдалении еще гремели орудия.

Я пыталась, стиснув зубы, втолковать отцу и матери, а прежде всего самой себе, что мы расстаемся ненадолго. Мама, отвернувшись, незаметно вытирала слезы краем передника; она так похудела, что стала совсем маленькой. Папа бодрился, продолжая работать, и водил внуков в Ботанический сад.

Не могу вспомнить, как прошли последние дни, не могу вспомнить дня отъезда. Садясь в пролетку, глухо застучавшую по булыжникам, я еще не знала, что уезжаю из моей страны навсегда.

ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ ДИАЛОГ

*Письмо главного редактора
журнала «Время и мы» Виктора Перельмана
главному редактору газеты
«Московские новости» Егору Яковлеву*

Уважаемый Егор Яковлев!

Еще несколько лет назад, это письмо выглядело бы нелепым донкихотством — никем не прочитанное, оно было бы просто отправлено в известные инстанции. Ныне времена изменились: к руководству СССР пришли новые люди, серьезно озабоченные его настоящим и будущим.

Для нашей эмиграции происходящее имеет особое значение. Дело не только в том, что те, кто сегодня у власти в СССР, и выехавшие на Запад росли в одни и те же годы. Главное в том, что при всей нашей многоликости мировоззренчески мы люди одного поколения, которое бросило вызов прошлому и открыто заявило, что дальше так жить нельзя. Последнее необходимо особо подчеркнуть: именно невозможность нормального человеческого существования (а никакая там не погоня за красивой жизнью) привела к расколу нашего поколения и массовому отъезду инакомыслящих.

Не знаю, насколько этот шаг был верен исторически — как говорится, будущее рассудит, — но называть сегодня этих людей «предателями» и «отщепенцами» так же абсурдно, как объявлять оставшихся «прислужниками режима» или «агентами КГБ». Не кажется ли Вам, что пришло время более осторожно относиться к словам, если мы не хотим, чтобы свободный обмен мнениями превратился в «диалог глухих», диалог, который лишь может завести в тупик (мы это хорошо знаем по прошлому), но ни на шаг не приблизить к пониманию происходящего?

Не считаете ли Вы, что свободная полемика между теми, кто уехал и кто остался в СССР, становится требованием дня? Готовы ли вы к такой дискуссии, чтобы не место жительства человека, не правоверие перед лицом доктрин, но верность мысли, но честность оценок стали главным критерием в споре?

Когда-то в годы молодости мы были с Вами хорошо знакомы и даже работали в одной редакции. Но не это главное. Вы — руководитель одной из самых влиятельных советских газет, я — редактор одного из наиболее популярных журналов эмиграции, который вот уже двенадцать лет издается на Западе, и, думаю, Вам хорошо известен. Разумеется, у наших изданий разные тиражи и разная степень влияния. Но даже в этих условиях широкий обмен мнениями пошел бы только на пользу дела, тем более, что «Московские новости» и существуют прежде всего для наведения мостов

Было бы лицемерием скрывать, что мы с Вами стоим на разных позициях: Вы — на советских, коммунистических, я же — придерживаюсь западной ориентации. Однако это не должно нам помешать. Ведь демократия, как Вы сами недавно выразились, это «улица с двусторонним движением», и стало быть, свобода информации не должна иметь политических границ. Но, как ни прискорбно сознавать, они, эти границы, все еще существуют. Можно лишь приветствовать, что граждане западных стран сегодня могут

свободно приобрести любое советское издание и, в частности, газету «Московские новости»: мир должен знать о происходящем в СССР. Но обладают ли подобным правом — правом на достоверную информацию о Западе — советские граждане? Что им известно о жизни их соотечественников за рубежом? Могут ли, например, москвичи купить в книжном магазине или киоске журнал «Время и мы»? К сожалению, пока этот вопрос звучит как чисто риторический. Ведь в глазах таможенных властей наш журнал — все еще «оружие вражеской агентуры», а его читатели в СССР могут быть в любое время объявлены «отщепенцами» и «пособниками ЦРУ».

Между тем, это — издание, которое выписывают и рассматривают как важный источник информации все крупные университеты мира, которое читают тысячи и десятки тысяч культурных людей на Западе.

Я обращаюсь к Вам как редактор к редактору — мы-то с Вами знаем, что такое доступ к читателю. Так вот, мое предложение — сделать так, чтобы наши издания находились в равных условиях, и подобно тому, как любой человек на Западе может прочесть «Московские новости», пусть любой гражданин СССР получит возможность читать журнал «Время и мы».

Чтобы наладить обмен идеями, наша редакция готова предоставить советским издательствам любую из публикаций, появившихся в журнале «Время и мы». Нам нечего скрывать от советских читателей, как и нечего бояться того, что публикуется в СССР. Мы напечатаем любой из предложенных Вами материалов — коммунистический, антирейгановский, антиэмигрантский, антиссионистский, оставив за собой лишь право высказать о нем свою точку зрения. Мы готовы на любой обмен информацией в любой предложенной Вами форме.

Гласность не может быть дозволенной и недозволенной, советской и антисоветской. Гласность не может быть полугласностью, гласностью с оглядкой, с политическими

границами, с таможенными шмонами. Такова уж природа этого демократического института — тут может быть все или ничего.

Диалог в обстановке полной гласности может принести только пользу нашим странам — и Советскому Союзу и США. Отказавшись от стереотипов холодной войны, они решительно идут по пути сближения. Мне кажется, что в этом процессе, исторически не менее важном, чем происходящая в СССР перестройка, есть место и для нас, профессиональных журналистов, все еще разделенных стеной отчуждения. Общность языка и культуры, принадлежность к одному поколению открывают перед нами уникальную возможность перебросить мосты через пропасти. Воспользуемся ли мы этой возможностью или так и останемся в плену политических неврозов, — вот вопрос, который все неотступнее встает сегодня.

С чего начать? Начать, право, очень просто — напечатать это письмо в газете «Московские новости» и таким образом вынести его на суд широкого советского читателя. Это и станет первым шагом на пути лучшего понимания друг друга, реальным подтверждением того, что на улице с двухсторонним движением, именуемой Вами демократией, Вас интересует и то, что происходит на противоположной стороне.

*С уважением, Виктор ПЕРЕЛЬМАН
главный редактор журнала «Время и мы»
Нью-Йорк, 6 ноября 1987 года*

ПРАВО НА ИНАКОМЫСЛИЕ

Вокруг одного письма

Г-н Перельман!

Наблюдая непрерывно нарастающий вал беспардонной и безнаказанной клеветы на страницах русскоязычной западной печати, я все чаще вспоминаю стихи из самого первого советского «Дня поэзии»:

А все-таки было бы хорошо,
 Чтоб в людях жила отвага,
 Чтоб каждый по городу гордо шел,
 А сбоку — болталась шпага.
 Чтоб можно за подленькое словцо,
 За лживую опечатку
 Врагу в перекошенное лицо
 Надменно швырнуть перчатку.
 Тогда б не бросали на ветер слов
 Без должного основанья,
 И стало б поменьше клеветников,
 Болтающих на собраньях!

В России за публичный донос били морду и переставали здороваться. Здесь мы разобщены, связи разорваны, а общественное мнение сменила общественная апатия — лучшее тому свидетельство тиражи «толстых» журналов. Отсюда — потребность в де-идеализации, де-героизации:

«Все мы одним дерьмом мазаны, нечего выпендриваться. Хрю-хрю!»

Кому какое дело, что г-н Шамир, член крайне левой партии Мапай, очень любит коммунистов и палестинцев и очень не любит Израиль. Что он и его единомышленники любят выдавать желаемое ими за действительное (примеры: «Сговор между нацистами и частью сионистского истеблишмента», «Еврейское агентство даже срывало сбор средств на спасение евреев», «Сионистские агенты бросили бомбу в багдадскую синагогу» и т.д. и т.п. — это все из статьи И.Шамира). Кому какое дело, что г-ну Шамиру легкость в мыслях необыкновенная заменяет многие иные качества? Кого заинтересует, что его так взволновало мое замечание, что многие антиизраильские инсинуации оплачиваются арабскими странами, и он поспешно-глубокомысленно спросил: арабские доллары — это новая валюта?

Г-н Шамир и его единомышленники хорошо знают: их право на свободу слова и «личное» мнение» защищает та же государственность Израиля». Верно. Но «та же государственность Израиля», и государственность США, и любая западная государственность защищает человека от публичной клеветы.

Ваш журнал опубликовал следующие открытия г-на Шамира:

«Израильско-московский физик Марк Азбель раньше сравнивал себя с Моисеем, выведшим свой народ из Египта в Землю Обетованную... Обычно он делится с читателями секретом своего успеха в науке, а именно умением «продать «научную продукцию».

Вы лично, г-н Перельман, отлично знаете: и то, и другое — ложь. А поскольку она посягает на мою профессиональную репутацию — ложь в Америке особенно «дорогостоящая».

Конечно, суд для журнала — тоже паблисити, но сомнительное и разорительное. Избежать его можно, назвав клевету — клеветой и ложь — ложью на страницах журнала. Именно этого я жду от вас как главного редактора.

От г-на Шамира я давно уже ничего не жду. Он свой путь определил (см. выше о сионистах, нацистах и проч.). Его ваше заявление не исправит. Но — сделает осторожнее. Читатели от этого — выиграют.

Проф. Марк АЗБЕЛЬ, Тель-Авив, Израиль

P.S. Паясничанье г-на Шамира на тему «евреи и кровавый навет» достойно их автора. А вот повод к паясничанью — история еврейского христианина г-на Бройде-Треппера-Антонова, прежде заканчивавшего свои письма Президенту Израиля (!) «С любовью во Христе» и бахвалившегося своим воинствующим антикоммунизмом («Континент», № 44, 1985 г.), а ныне забывшего и то, и другое и запросившего обратно в СССР, столь любопытна и показательна, что хочется отослать читателя к источнику вдохновения г-на Шамира — «Континенту» №49.

Остальные упражнения г-на Шамира находятся на уровне, не заслуживающем даже упоминания. Тем более, что они выражают его «мнение», которое может молчаливо «не разделяться редакцией». Это не то, что заведомая ложь, мнение по поводу которой выражает американский суд.

ОТ РЕДАКЦИИ

Публикуя письмо известного израильского физика Марка Азбеля, редакция считает необходимым высказать свою точку зрения. Но прежде восстановим в памяти читателя текст, который вызвал протест со стороны д-ра Азбеля. Он относится к напечатанному в 94-м номере обзору «толстых» журналов и, в частности, к обзору журнала «Континент» (№ 49). Рискую злоупотребить вниманием читателя, мы считаем необходимым привести этот текст, ибо без этого так и останется непонятной суть спора. Итак, на стр. 172-175 автор обзора Исраэль Шамир, остановившись на статьях Д.Панина и А.Марьямова, пишет следующее:

Третья статья — под стать двум. Ее автор — израильско-московский физик д-р Марк Азбель, который раньше сравнивал себя с Моисеем, выведшим свой народ из Египта в Землю Обетованную. Обычно он конкурирует в своих статьях с Дэйлом Карнеги и делится с читателями секретом своего успеха в науке, а именно умением «продать» научную продукцию. На этот раз гордый своими успехами физик берет на себя роль защитника Израиля от «клеветнических нападок» д-ра Бройде.

Д-р Бройде, сын создателя «Красной капеллы» антифашистского подполья Траппера, пишущий под псевдонимом «Антонов», прожил в свое время несколько лет в Израиле, а затем уехал в Европу, где ему тоже не удалось устроиться. Но в поисках работы в Германии Антонов-Треппер-Бройде понял то, что давно знают наши читатели — легче устроиться «прямуку», чем бывшему израильскому гражданину, лучше обладать полезным статусом беженца из соцстраны, чем званием израильянина в затянувшейся турпоездке. И вот д-р Бройде хотел бы переиграть эту ситуацию, отказавшись от израильского гражданства...

Д-р Бройде — фигура трагическая, и его искренне жаль. Жаль любого человека, жизнь которого не удалась. Особенно жаль своего брата-эмигранта, покинувшего родину «ради истин, а также ради богатства римлян» — и не нашедшего ни истин, ни богатства, ни просто спокойной работы. Он обратился с «открытым письмом» ко всему свету, мировой прессе, президенту Израиля и т.д. с просьбой сделать его снова беженцем, — и это письмо было помещено в «Континенте» № 49...

Вот этому-то д-ру Бройде и отвечает д-р Азбель на страницах «Континента». Начинает он вполне рассудительно и объясняет д-ру Бройде

и читателю, что нет сговора между Израилем и европейскими странами о том, чтобы не брали экс-израильян, но есть нормальные законы об эмиграции, мешающие любому иностранцу из Третьего мира устроиться в Европе и Америке. И в этом смысле израильянину скорее лучше, чем любому выходцу из стран Третьего мира — бразильцу, индусу или турку. Верно говорит Азбель и о том, что израильское законодательство не знает способов отказа от гражданства для лиц, не имеющих другого гражданства, — что также довольно обычно.

Но на этом д-р Азбель не останавливается. Он напоминает, как и вышеупомянутый Марьямов, гневные статьи советских газет двадцатилетней давности, скажем, времен обличения Пастернака, и там находил свое вдохновение. Он называет жалобы д-ра Бройде ни много ни мало — «Кровавым наветом». Дальше — больше. Болезнь дочери д-ра Бройде — «кара за его грех клеветы на Израиль». Прочтя письмо Бройде, «захочется устроить еврейский погром и стереть Израиль с лица земли».

Нынешнее время Азбель оценивает так: «ситуация антисемитизма, антисионизма, антиизраильской истерии, подогреваемой потоком арабских долларов (новая валюта? — И.Ш.)». Если бы Израиль лишил Бройде гражданства, «государство Израиль совершило бы государственное преступление!» и т.д.

Редактор «Континента» справедливо отмечает в заключение, что если Бройде несколько перегнул палку, то Азбель и вовсе сломал эту сакральную палку да так, что обломки в лицо полетели.

А чего стоит хотя бы обещание Азбеля, что бедняга Бройде «плохо кончит»! И так вроде бы, куда уж хуже — особенно если сравнить с судьбой Азбеля. Но сталинская безжалостность вколочена в души нашего поколения.

Д-р Азбель так и не понял, что, избравши форму государственного существования, независимость, и отказавшись от жизни в рассеянии, евреи отказались тем самым и от специфически «галутных» форм защиты — ссылок на антисемитизм и на «кровавые наветы» для оправдания своих действий. У евреев был выбор — жить «у других» и защищаться от упреков ссылками на антисемитизм — или жить «у себя» и этими ссылками не пользоваться. Поэтому израильяне, и не только они, могут обличать недостатки или недостойные действия израильского правительства, вовсе не опасаясь окриков д-ра Азбеля. От этих окриков нас защищает та же государственность Израиля.

Честно говоря, в контексте приведенного отрывка нам трудно понять, в чем именно д-р Азбель усмотрел клевету, посягающую на его «профессиональную репутацию». Тем не менее, если д-р Азбель в действительности не сравнивал себя с Моисеем, выведшим свой народ из Египта (и, следовательно, это утверждение И.Шамира не соответствует действительности), мы готовы высказать искреннее сожаление. Мы также сожалеем, если Марку Азбелю показалось обидным и посягающим на его профессиональную

репутацию другое утверждение И.Шамира, что «д-р Азбель делится с читателями секретами своего успеха» в науке, а именно умением «продать» научную продукцию» (хотя такое умение составляет предмет гордости многих американских ученых).

Сожалеем мы не по причине опасения судебного разбирательства (американскому суду просто делать больше нечего, как разбираться в наших эмигрантских сварах!), а потому, что считаем недопустимым, когда полемика на страницах журнала приобретает личный характер. И в этом смысле стиль письма д-ра Азбеля — повторяем, ученого с мировым именем — вряд ли выдержит экзамен на корректность, необходимую в серьезных дискуссиях. Его слова о «паясничании г-на Шамира», о его «легкости мыслей необыкновенной», заменяющей «многие другие качества», достойны не меньшего сожаления, чем ирония И.Шамира по поводу библейской миссии д-ра Азбеля.

Однако в письме последнего есть и нечто иное, выходящее за рамки недостаточно корректных приемов дискуссии. Речь идет о нежелании д-ра Азбеля признать за своим оппонентом право на инакомыслие. Автор письма в редакцию не делает и попытки ответить И.Шамиру по существу, он просто изобличает его, щедро навешивает на него политические ярлыки, проявляя при этом трудно объяснимую в устах израильского патриота неосведомленность о характере и расстановке политических сил Израиля. «Кому какое дело, — пишет д-р Азбель, — что г-н Шамир, член крайне левой партии Мапай, очень любит коммунистов и палестинцев и очень не любит Израиль». Даже как-то неловко объяснять д-ру Азбелю, что партии Мапай давно уже не существует, что на ее основе давным-давно образовалась рабочая партия «Авода» и блок Маарах, который никак не назовешь крайне левым и который поддерживает добрая половина израильтян.

Трудно согласиться с обвинениями Марка Азбеля и в ад-

рес д-ра Бройде — даже, если раньше он был антикоммунистом и заканчивал свои письма к президенту Израиля «с любовью во Христе», а теперь «запросился обратно в СССР». Разумеется, проще иметь дело с людьми твердой политической линии, может быть, даже приятнее. Да вот только жизнь сложнее политических доктрин. И если сегодня целые государства меняют свои принципы, то не следует ли проявлять больше доброты к отдельным людям, запутавшимся в сложных лабиринтах жизни? В свете этого выглядит странным, что д-р Азбель с таким упорством отстаивает свои обвинения в адрес глубоко несчастного сына Леопольда Треппера. Плохо это согласуется с израильско-еврейской моралью, о которой вряд ли можно забывать, отстаивая интересы государства Израиль.

В своих политических пристрастиях д-р Азбель придерживается крайне правой ориентации. Что ж, в условиях демократического Израиля это его безусловное право. Но по каким логическим и нравственным основаниям он лишает подобного права своего оппонента?

И.Шамир действительно считает необходимыми далеко идущие уступки палестинцам, он действительно близок к левым кругам Израиля. Но что отсюда следует? Что надо подвергать его политическому ostracismu и не давать ему слова в печати?

Редакция также не согласна с левыми взглядами И.Шамира. Но хороший вид имел бы журнал «Время и мы», если бы предоставлял трибуну исключительно людям правого мировоззрения. Или, наоборот, только «левым» авторам, считая, что их политических противников надо просто-напросто лишить права голоса.

Мы можем посочувствовать ностальгическим воспоминаниям д-ра Азбеля по старым добрым временам в СССР, когда несогласных можно было просто бить по морде, — в контексте его письма всех их нетрудно причислить к доносчикам. Конечно, это были прекрасные времена, но парадоксальным образом от них отрешиваются сейчас сами ру-

ководители СССР, утверждая необходимость демократии и свободных дискуссий.

Вопрос этот имеет не только теоретическое значение. Политическая закоренелость, отсутствие толерантности в отношении инакомыслия, нежелание видеть реальную действительность, — все это, к сожалению, отличает взгляды многих эмигрантов. Между тем в нашем динамичном, мире подобная закоренелость не может не ставить их в нелепое, а иногда и просто в смешное положение. Подумайте, он любит палестинцев! — обвиняет д-р Азбель Исраэля Шамира как раз в те дни, когда определенные круги правого блока «Ликуд» вступили в прямые контакты с палестинцами, чтобы привести Израиль к столу переговоров.

Следует вообще сказать, что большинству жителей демократического Израиля присущи динамизм и плюралистичность в политических оценках. (Исключение разве составляют правозащитные элементы, для которых не существует ни компромиссов, ни желания понять точку зрения оппонентов). И, если вернуться к политической толерантности израильтян, то неизвестно, кому большинство из них сильнее симпатизирует: коммунисту Горбачеву или правому экстремисту Меиру Кахане, готовому в любой час начать священную войну против арабов.

Так вот, по совокупности всех этих причин наш журнал и придерживается широкой демократической позиции в отношении к авторам и их взглядам. Не на диктате, но на конкуренции идей строится современное демократическое общество. Без свободной дискуссии, в которой каждый член общества имеет право на собственную точку зрения, немислимо само существование демократии. Нам, вышедшим из недр тоталитарного общества, к этому трудно привыкнуть, но это надо сделать, если мы не хотим безнадежно отстать от жизни.

Григорий СВИРСКИЙ

ПРОРЫВ

Роман о судьбе эмиграции из СССР

Рецензент лондонской газеты "Таймс" Э.Литвинов так писал об английском издании романа Григория Свирского "Заложники" ("Кнопф", 1976 г.): "Горечь отверженности, разделенная многими советскими евреями, дает свой привкус каждой странице "Заложников". Похоже, что от расточительства такого патриотизма и такого таланта советское общество теряет гораздо больше, чем оно думает".

Джон Эриксон в "Сэнди Таймс": "Описание этого соединения жестокости, шовинизма и антисемитизма... как санкционированного состояния умов оставляет неизгладимое впечатление".

В новом романе "Прорыв" Свирский остается верен себе и своему таланту. Главные действующие лица — люди, чьей судьба поставила перед моральной дилеммой: остаться жертвами, покорно принимающими советскую действительность, или вступить в отчаянную борьбу за право эмиграции. Суды за изучение иврита, "Самолетный процесс", "Письмо 39-ти", травля еврейских активистов — вся документальная канва еврейской эмиграции сохранена автором в романе.

Но не менее драматичными оказываются и главы, посвященные жизни героев в Израиле и на Западе. Неизбежная идеализация "земли обетованной", придававшая им силы в неравной борьбе, оказалась для многих источником мучительных разочарований при столкновении с реальностью. Чудовищная этническая и культурная чересполосица в молодом государстве, окруженность врагами, ограниченность природных ресурсов, приливы и отливы эмиграции, бескорыстный энтузиазм и цепкая коррупция — все дано автором через реальные, человеческие драмы, через судьбы героев

"Прорыв" — многоплановая эпопея, созданная пером мастера, яркое историческое полотно, посвященное одному из самых драматичных эпизодов новейшей истории: "исходу" сотен тысяч евреев (а затем и неевреев) из России на Запад.

Цена книги (560 стр.) — 18 долларов. Заказы и чеки высылать по адресу

Hermitage Publishers of New Russian Books
2269 Shadowood Dr., Ann Arbor, MI 48104



«БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ» ЭРНСТА НЕИЗВЕСТНОГО

Писать об Эрнсте Неизвестном и легко и трудно. Легко — потому, что можно опустить массу биографических сведений: имя его и без того широко известно. Трудно — ибо художник такого масштаба не может не вызвать ожесточенных споров, не приобрести как ярких приверженцев, так и желчных недоброжелателей.

Я сижу в студии Неизвестного и с интересом рассматриваю один из его последних циклов: иллюстрации к дантовскому «Аду», выполненные на больших листах фактурной бумаги карандашом и пастелью.

Почему опять Данте? Ведь был уже большой цикл рисунков в 65-м году в связи с 700-летним юбилеем поэта? Тогда Неизвестный победил в международном конкурсе, среди участников которого были Сальвадор Дали, Ренато Гутузо, Раушенберг.

— Понимаете, хотелось попробовать новые материалы, использовать новый опыт, новые идеи, — отвечает Неизвестный.

— Но почему эти рисунки так нарочито скульптурны? Зачем было браться за карандаш и пастель, чтобы создавать скульптуру на бумаге?

— При внимательном прочтении Данте, — развивает свою мысль художник, — видно, что страдание у него скульптурно-

анатомично. Вспомните Мандельштама «Разговор о Данте»: «Поэму насквозь пронзает безостановочная формообразующая тяга». И позднее: «XXXII песнь переполнена анатомическим любострастием», «тот самый знаменитый удар, который одновременно нарушил и целостность тела и повредил его тень», там же, с чисто хирургическим удовольствием: «Тот, кому Флоренция перерубила шейные позвонки».

Неизвестный досконально знает тексты поэмы. При этом популярному поэтическому переводу М.Лозинского он предпочитает практически подстрочный перевод Б.Зайцева. Кстати, именно Зайцев в предисловии к своему переводу писал: «Если попробовать рукой наощупь, то слова Данте благородно-шероховаты, как крупно-зернистый мрамор, или позеленевшая, в патине, бронза».

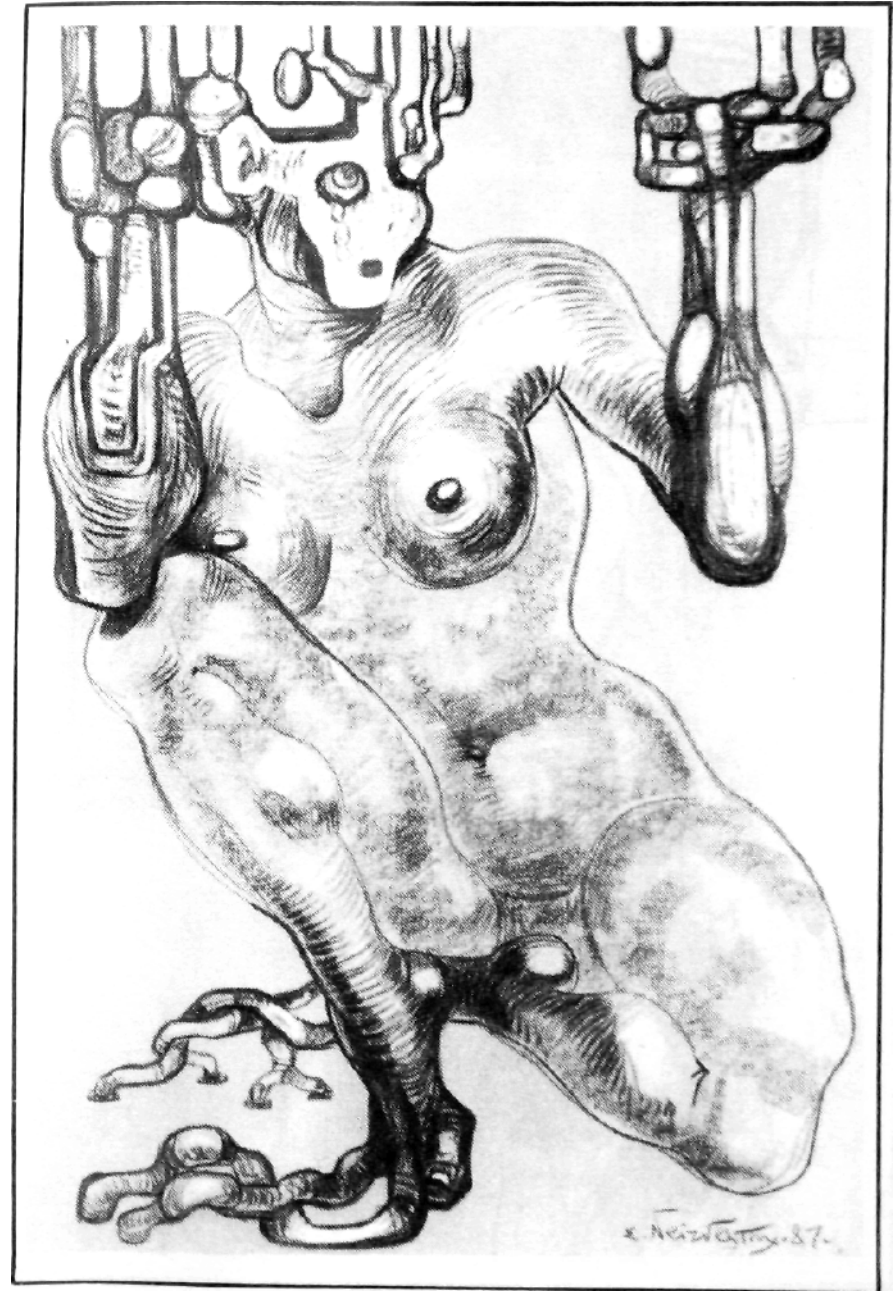
— А вам не кажется, — спрашиваю я, — что добрую треть этих листов можно выставить, ну, скажем, под заголовком «Жертвы Холокоста»?

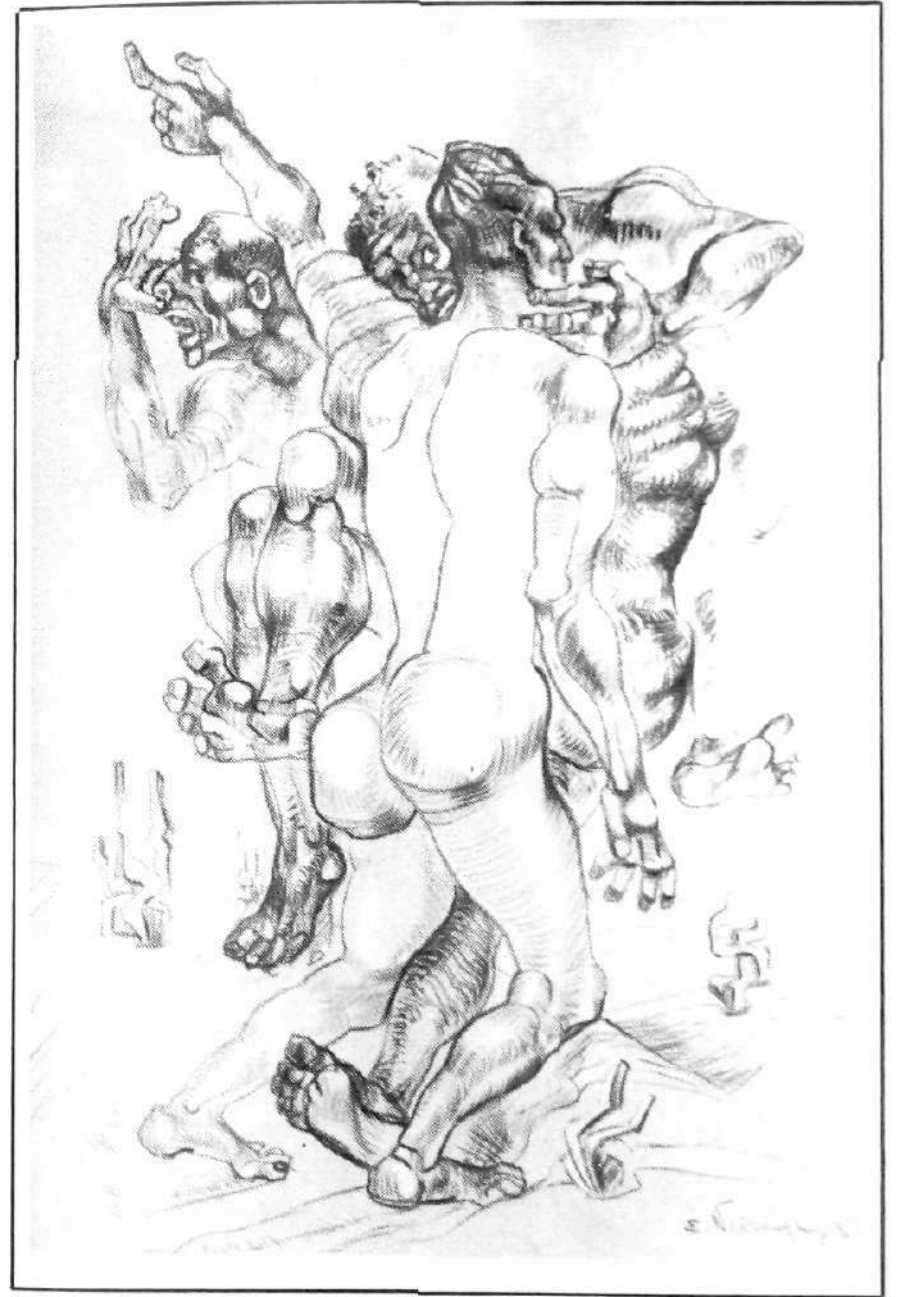
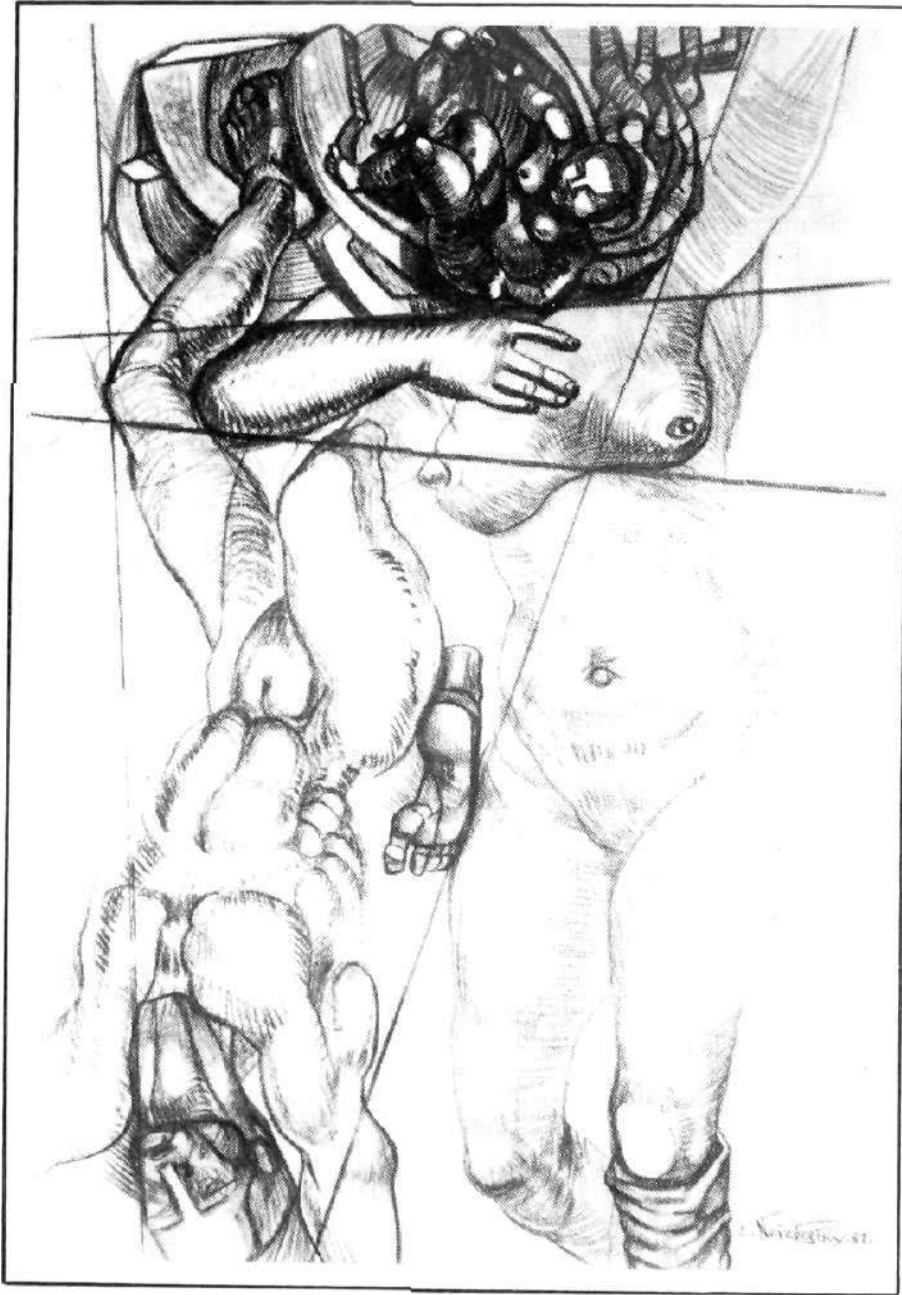
— А почему бы и нет? — восклицает художник. — Страдание универсально, как универсальна идея ада. Более заземленное изображение с географическими или этническими признаками снизило бы философское звучание работы. Если вы заметили, у моих героев даже нет волос, ибо по прическе можно определить время, а художник стремится создать вневременной образ.

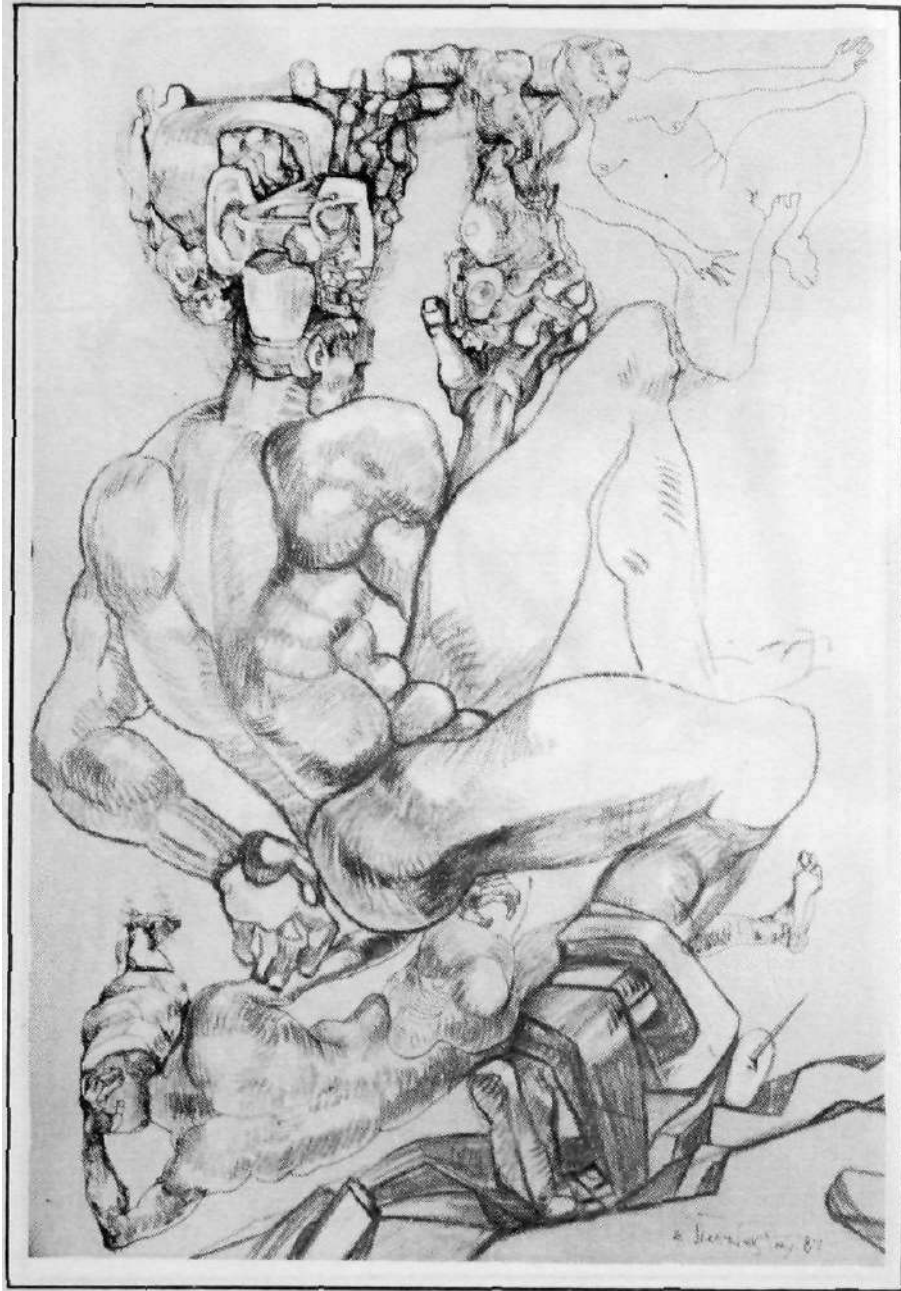
Новый цикл — это художественная иллюстрация идей, которые развивает перед своими студентами профессор Колумбийского университета Эрнст Неизвестный: «Для того, чтобы стать выразительным, — говорит он, — человеческое тело обобщается, деформируется или трансформируется. Тело в искусстве начинает жить своей собственной жизнью, отличной от жизни живого организма... И на пике напряжения, очищения и обобщения изображение тела и его частей становится с и м в о л о м».

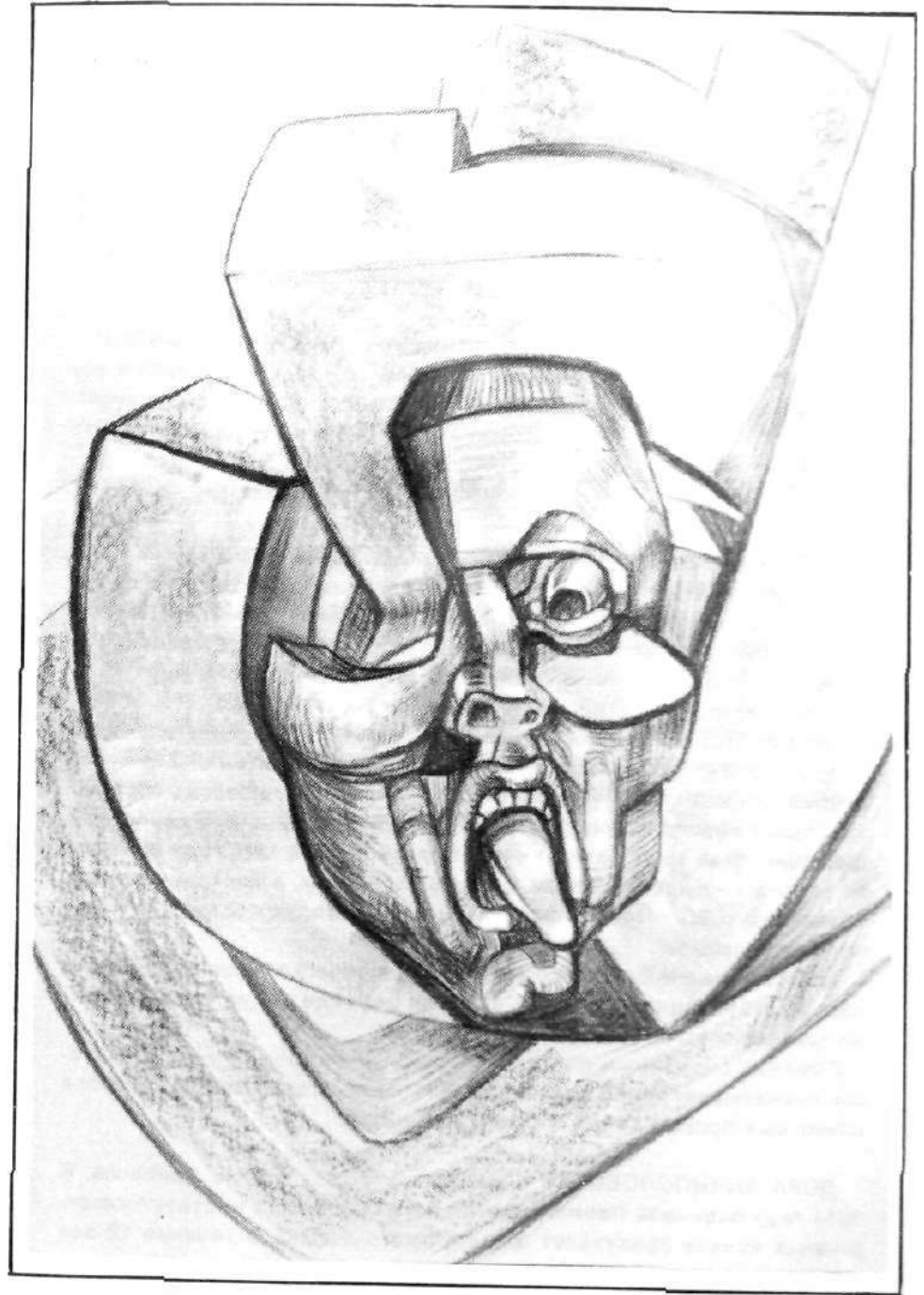
В работах, посвященных «Божественной комедии», мы видим не только искусство и талант мастера, но, если хотите, и мужество художника, который смело идет по следам Боттичелли, Доре и Пикассо, которого никогда не смущали тени великих предков. Он не мечется в поисках модной темы, а упорно разрабатывает и углубляет свой стиль, свою философию, свой взгляд на искусство и мир. Даже в рисунках его, по выражению Мандельштама, «резец скульптора только снимает лишнее».

А про то, что остается, хочется сказать словами В.Кандинского: «Художник есть рука, которая посредством того или иного клавиша приводит в вибрацию человеческую душу».









КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

СИМОНА ДЕ БОВУАР (1908-1985) — выдающаяся французская писательница, одна из самых ярких представительниц современного французского экзистенциализма. Родилась в богатой еврейской семье. После окончания университета преподавала литературу в лицеях Парижа и Марселя. Экзистенциалистские идеи абсурдности мира находят выражение уже в первом ее романе «Гостья» (1943).

Тема ее второго романа «Чужая кровь» (1945) — Франция эпохи Народного фронта и начала второй мировой войны. Затем она публикует философское эссе «Пирр и Синеас» и «За мораль бессмысленности», пьесу «Бесполезные рты» (1945), пишет исполненную страстных феминистских требований книгу «Второй пол». В 1948 году выходит ее работа «Экзистенциализм и мудрость нации», а несколько позже совместно с Жан-Поль Сартром Симона де Бовуар создает журнал «Новые времена».

1958 год отмечен появлением ее биографической книги «Мемуары хорошо воспитанной девочки», а спустя два года под заголовком «Сила зрелости» вышло их продолжение.

Роман «Мандарины», фрагменты из которого предлагаются читателю, насчитывает около тысячи страниц и является одним из наиболее известных произведений Симоны де Бовуар.

ДОРА АНЧИПОНОВСКАЯ — родилась в 1931 году, в Донбассе. В 1953 году окончила Ленинградский педагогический институт иностранных языков (факультет французского языка). В течение 12 лет преподавала французский язык в вузах Ленинграда. Художественным переводом начала заниматься в Израиле, где за 13 лет перевела двадцать книг, из которых десять опубликовано. Среди них — «Грек Зорба» Казанцакеса, «Теперь ностальгия уже не та» Симоны Сеньоре и другие.

ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ — родился в 1926 году. Окончил Киевский университет в 1949 году и Московский статистический институт в 1950 году. Работал в Новосибирском университете, а затем в институте социологических исследований в Москве. Эмигрировал в мае 1979 года. В настоящее время — профессор Мичиганского университета. Автор многих книг в области социологии. Постоянно выступает в американских газетах, журналах, а также по телевидению.

ИОСИФ ЛИЩИНСКИЙ — родился в 1933 году. Журналист, кинокритик и искусствовед. Уехал из Советского Союза в 1973 году. Живет в Иерусалиме, работает на израильском радио. Печатается в израильской русскоязычной и ивритской прессе.

ИОСИФ БРОДСКИЙ — см. интервью с Джоном Глэдом.

ДЖОН ГЛЭД — профессор Мэрилендского университета. Родился в штате Индиана. Окончил Индианский и Нью-Йоркский университеты. Специалист в области советологии, русского языка и литературы. Заведовал институтом Кенана по изучению России. Его перевод «Колымских рассказов» В.Шаламова на английский язык был удостоен премии как один из лучших художественных переводов Америки за 1980 год. Автор многих книг и статей. За свои славистские и переводческие работы Джон Глэд удостоен приза Гугенхайма. Им было опубликовано семнадцать статей в «Энциклопедии русской литературы» Ейльского университета.

Summary for the 97th issue of "Vremya i My" ("Time and We")

SIMONE DE BOV01R, "Mandarins". Excerpts from the novel of one of the France's most outstanding novelists and one of the most consistently French existentialists. (Conclusion, Part 1 in issue No. 96).

MIKHAIL GINDELSMAN, "Holding on to Life." Lyrical poetry about the dramatic life of the post-war Soviet generation.

VLADIMIR SHLYAPENTOKH, "Alexander II and Mikhail Gorbachev." The author brings to the readers' attention an essay on the reform of one of the most liberal of Russian Tzars and the leader of the contemporary Soviet Russia. The essay provides comparisons, historic analysis of the activities of both rulers. The author supplies a series of convincing facts confirming the analogy between both the era and the reforms carried out by Alexander II and Gorbachev.

IOSIF LISHCHINSKY, "The Government of Israel Versus Ivan Demyanyuk." An article about the trial of Ivan Demyanyuk, accused of serious crimes against the Jews in the Treblinka concentration camp. The author examines in details the evidence that was used in the trial, examines the accounts of the defence and the prosecution, and most of all analyses the political and moral aspects of this trial.

I. P., "The Truths and Untruths in Literature," "Does Central Europe exist?" A review of two foreign publications dedicated to problematics of contemporary literature and politics.

"Recapturing Lost Time." An interview by John Glad, professor of Maryland State University, with Noble Prize winner Joseph Brodsky on his art and contemporary Russian culture and Literature.

SOFIA DUBNOVA-ERLICH, Memoirs by a daughter of Semyon Dubnov, an outstanding historian and author, about revolution in Russia (see issue No. 96).

"LET'S START A DIALOGUE." An open letter of the Editor of the journal "Vremya i My," Victor Perelman to the Editor of "Moskovskiye Novosti" (Moscow News), Yegor Yakovlev.

"THE RIGHT TO DISSENT." Letter of Professor Azbel to the journal "Vremya i My", with editorial commentary.

НОВЫЕ КНИГИ ОРІ

Виктор Суворов
АКВАРИУМ

«Каждый знает, какой стране принадлежит самая мощная в мире секретная служба. Конечно, Советскому Союзу. И эта служба именуется КГБ. А какой стране принадлежит вторая по величине и мощи тайная служба? На этот вопрос мы отвечаем так же: Советскому Союзу. И эта служба именуется ГРУ». Аквариум — здание ГРУ на жаргоне его сотрудников.

366 стр.

9.50 ф.ст.

Илья Земцов и Джон Фаррар
ГОРБАЧЕВ:
ЧЕЛОВЕК И СИСТЕМА

Семьдесят лет после Октября

«Исследование личности Горбачева дает нам возможность понять советское общество не только в канун семидесятилетия его революции, но и на многие годы после него. Без ортодоксального коммунизма Горбачев, возможно, обойдется. Вопрос, однако, в том — обойдется ли он без тоталитаризма» (из Пролога).

320 стр.

9.50 ф.ст.

Жак Росси
СПРАВОЧНИК ПО ГУЛАГУ

Исторический словарь советских пенитенциарных институций и терминов, связанных с принудительным трудом.
Предисловие Алена Безансона.

«В литературе о ГУЛаге труд Жака Росси, — читаем в предисловии, — занимает оригинальное место... В сухой и безличной форме приведено больше проверенной и классифицированной информации, чем та, которой мы располагали доселе. И тот, кто углубится в эту книгу, ужаснется, будет столь же потрясен, как при чтении искусно написанного повествования».

546 стр.

13.50 ф.ст.

Борис Винокур
ТАЙНА КРЕМЛЕВСКИХ СТЕН

Политический детектив, раньше издан с большим успехом в переводе на английский язык.

240 стр.

9 ф.ст.

Книги можно заказывать в издательстве OPI (Overseas Publications Interchange Ltd. — 8, Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England), в книжном деле A.Neimanis (Bauerstr. 28, D-8000, München 40 West Germany) и во всех русских книжных магазинах.

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

ДЖОН БАРРОН "КГБ СЕГОДНЯ"

Большинство наших читателей знакомо с именем Джона Баррона — автора нашумевшей книги "КГБ", переведенной на многие языки мира, в том числе и на русский.

Книга "КГБ сегодня" — новейшее исследование того же автора, рассказывающее о самых зловещих сторонах и тайных пружинах деятельности советской секретной полиции в наши дни.

На примерах подрывной деятельности КГБ в Соединенных Штатах и Японии Джон Баррон рисует зловещую картину политического бандитизма, инспирируемого Москвой во всех странах мира.

В книге подробно раскрывается механизм деятельности КГБ. Джон Баррон рассказывает о том,

КАК ДЕЙСТВУЕТ КГБ СЕГОДНЯ И В СССР, И, В ОСОБЕННОСТИ, ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ,

КАК ГОТОВЯТСЯ КАДРЫ БУДУЩИХ РАЗВЕДЧИКОВ И ВЕРБУЕТСЯ АГЕНТУРА НА ЗАПАДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ СРЕДЫ САМЫХ КРУПНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ,

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КРАЖА ПЕРЕДОВОЙ ЗАПАДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ,

КАК КГБ ВЛИЯЕТ СЕГОДНЯ НА ВНЕШНЮЮ И ВНУТРЕННЮЮ ПОЛИТИКУ ЗАПАДНЫХ ГОСУДАРСТВ И О МНОГОМ ДРУГОМ.

Объем книги — 432 страницы. Цена — 22 доллара.

Заказы и чеки высылайте по адресу:

"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE

LEONIA, NJ 07605, USA

Tel.: (201)592-6155

панорама

The largest independent
American Russian publication

крупнейшее независимое еженедельное издание
на русском языке

Издается с 1980 года в Лос-Анджелесе

Главный редактор А. Поповец

ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ ГАЗЕТЫ

ГЛОБУС Обзор и комментарии к событиям международной и внутренней жизни

ПУБЛИЦИСТИКА В числе постоянных авторов газеты — обозреватель телевизионных программ АВС, бывший руководитель Информационной службы правительства США Б. Хершензон, известные журналисты русского зарубежья Т. Шуман, Лос-Анджелес, П. Вайль, А. Генис, С. Довлатов, В. Козловский, Б. Парамонов, М. Половский, Григорий Рыскин, Нью-Йорк, М. Лемкин, Сан-Франциско, Д. Савицкий, Европейская хроника, В. Лазерис, Ю. Шаргородский, З. Колупович, Израиль.

ЛИТЕРАТУРА В Панораме впервые публиковались отдельные произведения Василия Аксенова, Юды Алешковского, Эдуарда Пимонова, Сашы Соколова, Льва Халифа и ряда других писателей и журналистов, живущих в США и других странах.

ГОЛЛИВУД Рецензии на новые фильмы и театральные постановки, интервью с работниками театра и кино, обзоры событий в кинематографе США и других стран.

ЮМОР В этом разделе публикуются произведения авторов, пишущих на русском языке, а также переводы юмористических и сатирических произведений с других языков.

«Панорама» имеет постоянные представительства
в Сан-Франциско и Нью-Йорке.

Стоимость годовой подписки в США и Канаде — 33 00, полугодовой — 18 00 дол.
Для оформления подписки необходимо заполнить приводимый ниже купон и выслать его в адрес издательства «Альманах».

ALMANAC, P. O. Box 480264 Los Angeles, Ca 90048, USA

Примите подписать меня на газету «Альманах-ПАНОРАМА» на срок

12 мес / 33 00

9 мес / 18 00

В Европе, Израиле и Австралии стоимость годовой подписки — 64 00 дол.

Чек или ордер на сумму дол прилагаю.

Газету прошу направлять по адресу:

Имя _____ Телефон: _____

Номер дома Улица _____ Город _____ Штат Зип-код _____

панорама

American
Russian
weekly

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "АНТИКВАРИАТ"

- И. АКСЕНОВ. Пикассо и окрестности. — 12 долларов.
 М. БАХТИН. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса. — 36 долларов.
 А. БЕЛЫЙ. Христос воскрес. — 5 долларов.
 К. ВАГИНОВ. Труды и дни Свистонова. — 10 долларов.
 Е. ДУМБАДЗЕ. На службе Чека и Коминтерна. — 10 долларов.
 П.П. ЗАВАРЗИН. Работа тайной полиции. — 10 долларов.
 А. КОТОМКИН. О чехословацких легионерах в Сибири. — 10 долларов.
 П.Н. КРУПЕНСКИЙ. Тайна императора. — 7 долларов.
 В.И. ЛЕБЕДЕВ. Борьба русской демократии против большевиков. — 12 долларов.
 Н. РЕЗНИКОВА. Пушкин и Соборная. — 5 долларов.
 А.РЕМИЗОВ. Пляс Иродиады. — 12 долларов.
 И. СЕВЕРЯНИН. Колокола собора чувств. — 5 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. Ход коня. — 12 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. Гамбургский счет. — 15 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. Сентиментальное путешествие. — 20 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. Техника писательского ремесла. — 10 долларов.
 Э. и О. ШТЕЙН (составители). Чтобы Польша была Польшей. — 9 долларов.

Готовится к печати:

В. КРЕЙД (составитель и автор комментариев). Георгий Иванов — Несобранное. Ориентировочная цена — 25 долларов.

Деньги и чеки присылать по адресу:

E.SZTEIN'S ANTIQUARY

594 Chestnut Ridge Rd.

Orange, CT 06477, USA.

"МЕЛКИЙ ЖЕМЧУГ"

"Мелкий жемчуг", новая книга Аллы Кторовой, разнопланова и многотемна. Это литературно-исторический коллаж, где описание пращуров и предков прошиваются картинами жизни современной Москвы, а воспоминания о детстве и юности во время Второй мировой войны идут параллельно с рассуждениями о современной литературе, взглядами автора на нового человека эпохи НТР и т.д.

"Мелкий жемчуг" продается во всех магазинах русской книги США и Европы. В книге 303 страницы, с портретом автора и фотоиллюстрациями. Обложка выполнена Вагричем Бахчаняном. Цена книги — 20 долларов. За пересылку — 1 доллар. Заказы на книгу также принимаются по адресу:

**Victoria Sandor,
5838 Edson Lane,
Rockville, MD, 20852
USA**

Феликс РОЗИНЕР

101 СЛОВО = 12 СТИХОТВОРЕНИЙ

цикл с поэтикой аллитераций и смысловой игры, словотворчества и номинативной краткости.

**Факсимильное издание рукописи:
13 отдельных листов в папке
на рисовальной бумаге «Энгр».**

Весь тираж — 212 пронумерованных и подписанных автором экземпляров, из которых для продажи предназначена только часть.

**14 долларов (с пересылкой). Заказы у автора по адресу:
Felix Roziner
866 Beacon Str. Apt. 2
Boston, MA 02215, USA**

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД

СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ,

ЭТО КНИГА О ПОБЕГЕ НА ЗАПАД ВИДНЫХ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ, ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И ДИПЛОМАТОВ (ИГНАТИЯ РЕЙССА, ВАЛЬТЕРА КРИВИЦКОГО, ГРИГОРИЯ БЕСЕДОВСКОГО, ГЕОРГИЯ АГА--КОВА, АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА, БОРИСА БАЖАНОВА И ДР.), О ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТКРЫТЬ ЗАПАДУ ГЛАЗА НА СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ, О ИХ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАПАДНЫМИ РАЗВЕДКАМИ, О ПРОИСКАХ СОВЕТСКОЙ АГЕНТУРЫ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.

КНИГА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ РАСПРАВЫ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЕТ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА, РАНО ИЛИ ПОЗДНО РУКА СОВЕТСКОЙ ПОЛИЦИИ НАСТИГАЕТ ОДНИХ, И ПЕРЕД ВЕЧНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРАВЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ЖИЗНИ ЖИВУТ ДРУГИЕ.

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД — ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ — ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЮ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНУЮ, УНИКАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБРАННУЮ ИМ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ.

КНИГА ПЕРЕЖИЛА НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ, ПЕРЕВЕДЕНА НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА

*Цена книги - 15 долларов.
Заказы и чеки высылать по адресу:*

**"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605, USA
Tel.: (201) 592-6155**

ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» — 1987

УСТАНОВЛЕНА СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 55 долларов; с целью экономической поддержки редакции — 60 долларов; для библиотек — 79 долларов. Заказы и чеки высылать по адресу:

"TIME AND WE"

409 Highwood Ave, Leonia, NJ 07605. USA. Tel: (201)592-6155

Цена в розничной продаже — 13 долларов

Стоимость подписки в Израиле устанавливается израильским отделением журнала «Время и мы». Заказы и чеки высылать по адресу отделения: Иерусалим, Талпиот, Мизрах, 422/6 (зав. отделением Дора Штурман-Тиктина).

Подписка из Франции, Германии и других стран мира может осуществляться как через главную редакцию в Нью-Йорке, так и через представителей журнала.

При подписке в главной редакции чеки высылаются только в американских долларах (т.е. это должны быть чеки американских банков или иностранных банков, имеющих в Нью-Йорке отделения).

При подписке через представителей журнала (или его отделения) стоимость подписки:

— во Франции 450 франков; для библиотек — 650; с целью экономической поддержки журнала — 650 франков; — в Германии — 150 немецких марок; для библиотек — 200; с целью экономической поддержки журнала — 200 марок.

Подписка авиапочтой — 96 долларов.

ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" — 1987

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия

Имя

Адрес

Подписной период

Прошу оформить подписку на журнал "Время и Мы" на год. Высылать с номера

Журнал высылать обычной /авиа/ почтой по адресу

Подпись

Примечание редакции: чек выписывается по-английски на имя журнала "Время и мы" /**Time and We**/.

Из Германии, Англии, Франции и других стран чеки могут высылаться либо непосредственно по адресу главной редакции, либо в адрес представителей журнала

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высылается по адресу "**Time and We**"

409 HIGHWOOD AVENUE, LEONIA, N J 07605. USA

TEL: (201) 592 6155

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

MAIN OFFICE:
409 Highwood Avenue, Leonia, NJ 07605
(201)592-6155

Набор, монтаж и подготовка к печати выполнены компанией NAME Advertising Co.

Корректор Елена Березина.

OCR и вычитка — Давид Титиевский, июль 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

Фото Иосифа Бродского на первой странице обложки и на стр. 164 журнала выполнены Марианной Волковой.

Фото Эрнста Неизвестного на стр. 234 выполнено Ниной Аловерт.

На четвертой странице обложки:

Графическая работа Эрнста Неизвестного из серии «Ад».

